

Елена  
Арсеньева



Короля  
ИГРАЕТ СВИТА

ЭКСМО

Елена Арсеньева  
**Короля играет свита**

«Автор»

2001

**Арсеньева Е. А.**

Короля играет свита / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2001

ISBN 5-04-009459-0

Не знал дворянин Алексей Уланов, когда отправился к дядюшке-генералу в Петербург, какая роковая встреча ждет его там. Загадочная красавица, вставшая на пути молодого человека, перевернула всю его жизнь. Из-за этой незнакомки, из-за ее минутной прихоти Алексей обвинен в убийстве генерала Талызина, он попадает под арест, скитается, безуспешно пытается оправдаться и восстановить свое честное имя... Но главное – найти ее, эту таинственную женщину, которая озарила его жизнь светом любви – и в то же время причинила страдания, пережить которые иногда кажется невозможным...

ISBN 5-04-009459-0

© Арсеньева Е. А., 2001

© Автор, 2001

## Содержание

Апрель 1801 года	5
Ноябрь 1781 года	8
Апрель 1801 года	13
Июнь 1790 года	18
Апрель 1801 года	21
Июнь 1790 года	28
Апрель 1801 года	32
Ноябрь 1796 года	38
Апрель 1801 года	41
Ноябрь 1796 года	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Елена Арсеньева

## Короля играет свита

*Покорного судьбы влекут, строптивного – волокут.*  
*Пословица*

### Апрель 1801 года

– Очнитесь, молодой человек! Откройте глаза!

– Эк нализался, невежа! Да очнись, ирод!

– А что ж, ныне, говорят, все дозволено. Милое, понимаете ли, господа, дело: удавить кого-нибудь без жалости, а потом накушаться тут же, в компании с убиенным.

– Эй, Бесиков, ты в словесах... того-этого... побережней будь. Насчет удушенных-то. И, дескать, все дозволено. За такое ведь и в Тайную экспедицию недолго угодить.

– А нет, дружище Варламов. Не получится. Не слышал разве, что отворены врата гнусного узилища, кое без жалости пожирало... ну и так далее, о чем в газетках пописывают. Отворены двери, по-нял? Тайная экспедиция прикрыта, на дверях камер надписи: «Свободно от постоя». Да, нынче у нас как бы свобода. А сие означает – что хочу, то и ворочу.

«Что хочу, то и ворочу!» Это были первые осмысленные слова, которые пробились к затуманенному сознанию Алексея. Любимое изречение тетушки! Только почему Марья Пантелеевна вдруг возговорила мужским голосом и несет какую-то чепуху? Неужто он, Алексей, и впрямь «нализался, накушался» – напился до такой степени, что весь мир вокруг него искажился? Или просто мерещится бог весть что? Тетушка, говорящая баском... Кошмар! А вот интересно бы знать, в добавление к мужскому голосу, наделит ее кошмар мужскими же ухватками? Будет ли она уязвлять непутевого племянника лишь словесами ядовитыми либо до рукоприкладства дойдет? Впрочем, не раз случалось Алексею огрести тетушкиного сердитого тычка под бок, и он мог бы свидетельствовать, что от сего маленького, сухонького кулачка дух занимался не менее, чем от увесистого кулачища Прошки, молочного братца и первейшего Алексеева друга-противника.

– Небось ты все уже позабыл, а я сам видал наутро же после... после того, как прежнего государя кондрашка хватил, сиречь а-по-плек-си-чес-кий – тьфу, леший, спроста и не выговоришь! – удар вдарил. Офицерик какой-то ошалелый летел верхом не по мостовой, а по тротуару, вопя во всю глотку: «Нынче все можно!» И морда у него при этом, скажу тебе, была самая дурацкая.

Теперь до Алексея стало потихоньку доходить, что басит, пожалуй, все-таки не тетушка. А кто же тогда? Прошка? Ну, какое там: его еще о позапрошлом годе отец проиграл в карты какому-то заезжему лошадику, а тот перепродал невесть кому. Алексей в ту пору гостил у соседей, вернулся, узнал о Прошке – чуть не полгода с отцом ни словечком не перемолвился, так горевал да злился. Нет, это не Прошка... Старый лакей Кузьма? Не он. Алексей мысленно перебрал голоса дворни, однако ни один из слуг не обладал таким разнузданным, рассыпчатым баском. Пожалуй, это чужой человек. Конечно, чужой – никто в Васильках не носил такого забавного прозвания – Бесиков. Да и Варламовых там сроду не было: всех своих немногочисленных душ, доставшихся в наследство от батюшки, Алексей знал с малолетства. Ну вот, выходит, два чужих человека рядом. Кто ж они такие?

Алексей поднатужился и приоткрыл глаза – нет, для начала один. Веки, чудилось, были накрепко склеены, поскольку простейшее это движение оказалось сопряжено с невероятными

усилиями. Алексею пришлось скроить гримасу, прежде чем удалось посмотреть на свет божий, и старания его не остались незамеченными.

– Глянь-ка, Варламов! – рассыпался насмешливый басок Бесикова. – Никак дошли твои словеса на небеса. Очухался наш милашка!

Издевка в его голосе ожгла пуще пощечины. Алексей вовсе продрал глаза и вскинулся с самым свирепым выражением лица, готовый немедля дать отпор всякому оскорбителю: угодно – так в кулачном бою, как это велось в Васильках, ну а коли пожелает неведомый Бесиков – на смертоубийственной дуэли, как принято в обеих столицах и всяком мало-мальски приличном губернском городе.

Открыл глаза – и невольно ахнул, настолько близко нависли над ним два незнакомых лица. Одно было большое, аки подушка, полнокровное, толстошее и лобастое, с маленькими, глубоко упрятанными глазками. Другое – с мелкими, точеными чертами, молодое, смуглявое, черноброе, и совершенно понятно было, что под пудренным паричком с косицею скрыты иссиня-черные, жесткие, будто воронье перо, волосы.

Глаза у смуглявого были также черные, вострые, что буравчики, они победительно сверкнули, встретясь с Алексеевым взором, и тут же уставились на него столь пристально, что было полное впечатление: буравчики ввинчиваются в его недоумевающие очи.

«Вот этот – Бесиков, – подумал Алексей. – Самый настоящий Бесиков! А толстый, конечно, Варламов».

– Ага, ага, ага! – торжествуя сказал чернявый веселеньким баском, и Алексей почему-то обрадовался, что не ошибся: точно, Бесиков. И на долгое время эта мгновенная вспышка ребяческой, глупой радости осталась в его жизни последним светлым чувством, потому что в следующее мгновение Бесиков моргнул Варламову, тот подал знак кому-то еще, не видимому Алексею, и тотчас этот кто-то сильно вздернул нашего героя, вынудив его сесть (а до сего времени он был простерт плашмя на некоем пышном ложе), и немилосердно заломил ему руки за спину.

Сидя в нелепейшей позе, с вывернутыми плечами, вытягивая шею и шаря взором по насмешливому лицу Бесикова, бедолага был так изумлен и возмущен, что в первую минуту сумел исторгнуть из себя лишь нечленораздельный вопль. Однако Бесиков, несмотря на молодость (вряд ли он был более чем на десяток лет старше Алексея, которому лишь недавно исполнилось девятнадцать), оказался человеком проникательным. Он без труда вник в смысл сего вопля и отвечал с издевательской любезностью:

– Вам, сударь, не по нраву ухватки Дзюганова? Да бросьте-ка! Добрейший, милейший мужик, верный слуга царю и отечеству! А что любит порою из человека душу вынуть, так не из всякого же, а только лишь из супостата какого-нибудь, душегуба, убийцы, – вроде вас, милостивый государь.

– Я не-е... не-е... – проблеял Алексей, не столько оскорбленный нелепостью обвинения, сколько мучимый болью в плечах, которые, чудилось, вот-вот будут вывернуты из суставов, словно у висящего на дыбе.

– Что? – круто вздернул черную, словно угольком прочерченную, бровь Бесиков. – Вы на каком языке выражаться изволите? «Я не-е... не-е...» – передразнил он столь похоже, что в других обстоятельствах Алексей непременно составил бы компанию толстяку Варламову и посмеялся вместе с ним. Но – в других обстоятельствах, не сейчас, когда из глаз искры сыпались от боли, а главное – от полной невнятицы случившегося. – Вы «не» – что? Не супостат, не душегуб, не убийца? Ошибочка! – воскликнул он, укоризненно покачивая головой – ну опять-таки в точности Алексеева тетушка, обнаружившая в его французских или немецких брульонах<sup>1</sup> множество нелепиц. – Ошибочка, сударь мой! Никакими иными словами невоз-

---

<sup>1</sup> Черновиках.

можно назвать человека, задушившего хозяина дома, где дали ему кров и пищу. Генерал-лейтенант Талызин был человеком очень даже не простым, он состоял в дружбе с самим вице-губернатором Паленом, государь-император к нему благоволил, а уж принимая во внимание роль, которую господин Талызин сыграл в известных событиях 11 марта... И вот такого человека вы безжалостно, бесчинно, кровожадно...

– Погодите! – вскричал Алексей, наконец-то обретший власть над собственным голосом. – Вы что хотите сказать? Господин Талызин – он что, убит? – А вы как будто этого не знали? – ехидно осведомился Бесиков.

– Не знал, как бог свят, не знал! – выкрикнул Алексей. – Это не я! Я его не убивал!

– Полно лгать! – проворчал незримый Дзюганов, с такой силой встряхивая Алексея, что тот невольно взвыл от боли в вывернутых плечах. – Еще божьим именем клянется, сила нечистая! Вот как пошлет господь гром да молонью, как поразит тебя в самое темечко...

«Молонья» с небес, однако же, послана не была. Громового удара тоже не воследовало. Скорее всего потому, что господь поверил Алексею. Вездесущий всевышний – единственный в мире! – доподлинно знал: обвиняемый говорит чистую правду. Он не только не убивал своего родного дядюшку Петра Александровича Талызина, но даже в глаза его никогда не видывал.

## Ноябрь 1781 года

Осенний ветер завывал над Невой. Снега еще не налегло, даже Покров выдался бесснежным, однако в последние дни зарядили такие студёные, такие заунывные дожди, что петербуржцы мечтали о приходе зимы словно о божьем благе. До того осточертела эта пронизывающая сырость – ну просто сил нет.

И вдруг погода угомонилась. Ветер не утих, но переменялся, дул тепер с юга, словно смешалась связь времен и где-то там, на небесах, решено было не зиму, а весну принести в северную столицу. В узких улицах, конечно, свистело, как в трубе, но, поворотясь к ветру спиной и подняв воротник, вполне можно было идти в ус не дую, да еще и трубочку покуривать.

Что и делали четверо поздних прохожих, которые следовали вдоль Фонтанки в таком странном порядке: один впереди, затем, подхватив друг друга под руку, еще двое, и последний, также в одиночку, замыкал шествие. Пара не прерывала разговора и вообще ни на что не обращала внимания, а вот первый и последний то и знай зыркали по сторонам, настораживаясь при любом случайном звуке или шорохе. Внимательный наблюдатель, окажись он в такую позднотищу поблизости, непременно сделал бы вывод, что впереди и позади идут слуги, которые охраняют своих господ.

Впрочем, по причине глубокой ночи и полного безлюдья не видно было никакой опасности и никто не мог подслушать разговор двух молодых (старшему не было еще и тридцати) людей. И слава богу, потому что разговор был серьезный, даже опасный, относящийся к разряду тех, которые вполне могли быть причислены к государственной измене. Какое счастье, что преданные слуги умели быть глухи и немые!

– Я превращен в какой-то призрак, – пронзительным, неприятным голосом говорил тот, что был меньше ростом. – Я поставлен в самое постыдное положение, потому что не допущен ни к какой реальной власти.

– Но ведь ваша матушка еще, по счастью, жива, – благоразумно возразил его спутник. – О какой реальной власти можно теперь говорить?

– То, что она творит с высоты своего положения, всецело основано на славолубии и притворстве. О торжестве закона никто и не помышляет! Я мечтаю о внедрении среди дворянства строгого нового мышления, основанного на четком понимании своих прав и обязанностей.

– Ну, насчет прав, как я понимаю, никто не возражает, ваше высочество! А вот насаждение обязанностей... – хмыкнул спутник этого человека со смелостью, дозволенной только близкому другу. Да и в самом деле – Александр Борисович Куракин был, как никто другой, близок великому князю Павлу, воспитателем которого был его дядя, канцлер Никита Иванович Панин.

– Это да! – сурово сказал великий князь. – Просто-таки помешались нынче все на своих правах. Или вот еще – на идеях каких-то. Что за дурацкое словечко – идеи? Не идея никакая, а мысль! Раньше попросту говорили – «я думаю». Теперь – «мне идея в голову пришла». Как пришла, так и ушла, в голове ничего не сыскавши! Вот и государыня-матушка все об том же. Надо же такое измыслить: учреждать воспитательные дома и женские институты, чтобы создать «новую породу людей». Заладили болтать, как во Франции: равенство, братство! Доведут с этими глупостями страну до революции. Чтобы все были равными, надо прежде всего одеваться одинаково. А то на одном лапти, на другом стоячий воротник до ушей с таким галстуком, что от него помадами и духами за версту несет. У одного на столе пустые щи, у другого восемнадцать перемен блюд, да еще роговая музыка под окнами играет. А надо как? Ежели шляпы – у всех одинаковые, треугольные, никаких круглых. Ежели пукли – у всех одни и те же, по три штуки справа и слева. Вот тебе и вся «новая порода». Люди, говорю я ей, должны по ранжиру быть расставлены, каждый на своем месте, как в гвардии на посту: пост сдал –

пост принял. Никаких глупостей, никакого вольнодумства! А если что не так – сечь до потери сознания, а то и пушками, пушками – и все как рукой снимет. Непорядка в стране меньше будет. И знаешь, друг Куракин, что мне матушка ответствовала? Ты, говорит, лютый зверь, если не понимаешь, что с идеями нельзя бороться при помощи пушек!

– Ну что вы хотите, сударь, ваша матушка все-таки женщина. Не может ведь женщина повсюду бывать сама, входить во все подробности, – примирительно отозвался Куракин, слышавший все это не в первый и не в десятый, а по меньшей мере в сто первый раз: недовольство цесаревича буквально каждым шагом матери-императрицы давно стало притчей во языцех.

– Конечно! – вспыхнул Павел. – В том-то и дело! Потому-то мой дрянной народ только и желает, чтобы им управляли женщины. Ты вспомни: на русском престоле уже почти шестьдесят лет сидят бабы! Надо выдвинуть в ущерб им принцип мужской власти. Власти, а не этих юбок... То им фижмы, то кринолины, то мушки, то еще что-нибудь. И в государственных делах так же: что в голову взбредет, то и сотворю. Когда я достигну престола, я буду входить во все подробности управления. Помяни мое слово.

Александр Куракин молчал.

– О чем ты подумал? – взволнованно спросил Павел тонким, злым голосом. – Я знаю, о чем ты подумал! Ты думал, что мне следовало бы сказать не «когда я достигну престола», а «если я его достигну»? И не возражай. Я знаю. Я вижу тебя насквозь!

На самом-то деле Куракин подумал, что его приятель может совершенно запутаться в этих подробностях, в которые он намерен «входить», потому что его ограниченный ум и слабая воля не выдержат упоения самодержавной властью. Но возражать сейчас и в самом деле было бесполезно. То, что он влачит затянувшееся существование наследника при женщине-императрице, было для Павла постоянным больным местом, и даже не любимой мозолью, а открытой раной. Мать и сын находились в состоянии бесконечной дуэли. Павел был просто помешан на том, что он достоин большего, в то время как права его попираются.

Александр Борисович знал, что мысль эта зародилась в великом князе не без участия графа Панина. Никита Иванович лишь потому всячески поддерживал идею государственного переворота, устроенного Екатериной, что был убежден: этот переворот приведет к власти его малолетнего воспитанника, а поскольку править он еще не сможет, в России можно будет установить конституционную монархию при регентстве кабинета министров. Фактически он видел во главе этого кабинета себя, мечтал о собственной власти, ограничивающей самодержавную, однако Екатерина, неподвластная чужой воле, необыкновенно сильная духом, совершила переворот в свою пользу. Вот этого Никита Иванович и не мог ей простить, исподволь внося разлад в отношения императрицы с сыном – и без того непростые. Именно от Панина Павел узнал о намерениях возвести его на престол, о проекте конституционной монархии, и это еще более усилило в нем раздражение против Екатерины и тех, кто помог ей надеть царский венец... по праву принадлежащий ему, Павлу Петровичу!

Эта мысль просто-таки сводила цесаревича с ума. В ответ на поправление его прав гордость и обидчивость развились в нем до непомерной, преувеличенной степени. К тому же в нем никогда не утихали сомнения, в самом ли деле он сын покойного императора Петра. Вполне достаточно было бы просто посмотреть в зеркало, чтобы получить доподлинный ответ. Сходство отца и сына было разительным, однако к этому вопросу Павел продолжал относиться с поистине инквизиторским любопытством. Стоило ему увериться, что он действительно сын Петра, как честолюбивые устремления вспыхивали в нем с новой силой, он начинал ненавидеть мать... совершенно упуская из виду (со свойственной ему пристальной внимательностью к мелочам, но неумением делать из них глубокие, логические выводы), что по законам Российской империи он не имел никакого права на престол. Прежде всего потому, что закона о престолонаследии в этой самой Российской империи никогда не было.

Нет, ну в самом деле! Трон в России всегда переходил «по избирательному или захватному праву», а проще сказать, «кто раньше встал да палку взял, тот и капрал». Петр Великий помнил старинную «правду воли монаршей», то есть произвольную власть государя самому выбирать себе наследника, но сам он не успел воспользоваться этим правом, вот и пошла после него чередой императоров и императриц, захватывавших русский трон при помощи государственных переворотов. Елизавета Петровна, надо отдать ей должное, выбрала себе законным преемником Петра Федоровича, отца Павла, но сам-то Петр ничего не сделал для интересов своего сына. Таким образом, после его смерти Павел в глазах закона был полное ничто и всецело зависел от произвола матери. Это и сводило его с ума.

Он жил, никому не веря. Первая его жена, немецкая принцесса Вильгельмина, в крещении Наталья Алексеевна, изменяла ему с лучшим его другом, Андреем Разумовским, заядлым пожирателем женских сердец. Совсем даже не факт, что ребенок, при рождении которого она умерла в апреле 1776 года, не был сыном этого русского Казанова. Вторая жена, Мария Федоровна, она же – принцесса София-Доротея, была достойна Павла мелочностью и придиричливостью ограниченного ума: она так же строила замки своего честолюбия на пустом месте и неустанно подогревала устремления своего мужа, хотя в вопросах государственной власти понимала еще меньше, чем в грамматике и правописании, в которых она была не просто слаба – понятия о них не имела...

Павел порою ненавидел жизнь, потому что она была исполнена страдания. Он жил, ни на кого не надеясь, всех постоянно подозревая в злоумышлениях, по крайности – в скрытых издевках. В глубине души он сознавал слабость своего характера, но признать это было для его непомерной гордыни невозможно. Он яростно завидовал своему великому предку Петру. Если бы обладать такой же мощью природы, такой твердостью духа, такой богатырской статью, жизненной силой! Тогда мать трепетала бы перед ним, а не он перед нею! А он трепещет, увы, и презирает себя за это, и ненавидит, еще пуще ненавидит ее...

Мысль о том, что Екатерина тоже его ненавидит, что она желает его смерти, была с ним неотвязно, а потому он даже не очень-то удивился, когда вдруг заметил в глубине одной подворотни очень высокую фигуру, завернутую в длинный плащ, и в военной, надвинутой на лицо треугольной шляпе. Похоже было, этот человек ждал кого-то, однако, когда Павел и Куракин поравнялись с ним, он вышел из своего укрытия и пошел слева от Павла, не говоря ни слова.

Павел оглянулся. Станным показалось ему, что на охрану появление этого человека не произвело никакого впечатления, хотя несколько минут назад они палками отогнали прочь какого-то нищего, который спьяну вздумал просить милостыньки у императора. Куракин тоже шел с равнодушно-сонным видом, погруженный в какие-то свои мысли.

Впрочем, прислушавшись к себе, Павел вдруг ощутил, что не испытывает никакого страха. Мысль о том, что это может быть убийца, не трогала его сознания. Станным казалось только то, что ноги этого человека, ступая по брусчатке, издавали странный звук, словно камень ударялся о камень. Павел изумился, и это чувство сделалось еще сильнее, когда он вдруг ощутил ледяной холод в своем левом боку, со стороны незнакомца.

Павел вздрогнул и, обратясь к Куракину, сказал:

- Судьба послала нам странного спутника.
- Какого спутника? – спросил Куракин.
- Господина, идущего у меня слева.

Куракин раскрыл глаза в изумлении и заметил, что у великого князя с левой стороны никого нет.

– Как? Ты не видишь этого человека между мною и домовою стеною? – удивился Павел, продолжавший слышать шаги незнакомца и видеть его шляпу, его мощную фигуру.

– Ваше высочество, вы идете возле самой стены, и физически невозможно, чтобы кто-нибудь был между вами и ею, – благоразумно возразил Куракин.

Павел протянул руку влево – и точно, вместо того чтобы схватить незнакомца за плечо, наткнулся на камень. Но все-таки незнакомец был тут и шел с цесаревичем шаг в шаг, и поступь его, как удары молота, раздавалась по тротуару.

Павел взглянул на него внимательнее прежнего. Тот как раз в это мгновение повернулся, под шляпой его сверкнули глаза столь блестящие, каких цесаревич не видал никогда ни прежде, ни после. Они смотрели прямо на Павла и, чудилось, околдовывали его.

– Ах! – сказал Павел Куракину. – Не могу передать тебе, что я чувствую, но только во мне происходит что-то особенное.

Павел начал дрожать – не от страха, но от холода. Казалось, что кровь застывает в его жилах. Вдруг из-под ворота плаща, закрывавшего рот таинственного спутника, раздался глухой и грустный голос:

– Павел!

– Что вам нужно? – ответил он безотчетно.

– Павел! – опять произнес незнакомец, на этот раз, впрочем, как-то сочувственно, но с еще большим оттенком грусти.

Потом он остановился. Павел сделал то же.

– Павел! Бедный Павел! Бедный князь!

Павел обратился к Куракину, который также остановился, удивляясь, что происходит с его высочеством.

– Слышишь? – спросил Павел взволнованно.

– Ничего, – отвечал тот, – решительно ничего.

– Кто вы? – сделав над собою усилие, спросил цесаревич, и Куракин вздрогнул, потому что ему показалось, будто Павел сошел с ума: он разговаривал с пустотой. – Кто вы и что вам нужно?

– Кто я? Бедный Павел! Не узнаешь? А ведь ты только что вспоминал меня. Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Не разводи пауков в доме своем, не то они задавят тебя.

Произнеся эту странную, отрывистую фразу, незнакомец в плаще снова двинулся вперед, оглядываясь на Павла и все как бы пронизывая его взором. И как цесаревич остановился, когда остановился его спутник, так и теперь он почувствовал необходимость пойти за ним.

Дальнейший путь продолжался в молчании, столь напряженном, что и встревоженный Куракин не мог сказать ни единого слова.

Наконец впереди показалась площадь между мостом через Неву и зданием Сената. Незнакомец прямо пошел к одному, как бы заранее отмеченному, месту на площади; великий князь остановился.

– Прощай, Павел! – сказал человек в плаще. – Ты еще увидишь меня здесь. Помни: берегись пауков!

При этом шляпа его поднялась как бы сама собой, и глазам Павла представился орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка его прадеда Петра Великого.

– Не может быть! – вскричал он, едва не теряя сознания от страха и удивления, а когда очнулся, никого уже не было на пустынной площади.

На этом самом месте летом будущего года императрица Екатерина Алексеевна возведет монумент, который изумит всю Европу. Это будет конная статуя царя Петра, помещенная на скале. Не Павел советовал матери избрать это место, будто отмеченное или скорее угаданное призраком. Он опасался вспоминать о той ночи, но не знал, как описать чувство, охватившее его, когда он впервые увидел памятник Петру. Тот холод, который пронзал его слева при встрече с призраком, Павел продолжал ощущать до конца жизни. И его не оставляла уверен-

ность, что, хоть Петр явился поговорить с ним, он сделал это не из сочувствия, не из расположения, а скорее из жалостливого презрения к своему потомку.

Павел никогда никому не верил! Даже призракам.

А слова о каких-то там пауках показались ему сплошной невнятицей. Или он только делал вид, что не понял их?

## Апрель 1801 года

Почти всю дорогу Алексей проспал. Тетушка уж так застрашала беспутницей (да и правда, на дворе конец марта, не дороги, а чистое наказание), что он пытался избавиться от этих страхов самым наивернейшим способом: покрепче зажмурясь и погрузившись в грезы. И то сказать: в последнее время случилось в его жизни столько хлопотных, непривычных событий (смерть отца, вступление в права наследства, тяжкие ссоры с тетушкой, решение круто изменить судьбу и отправиться в Петербург, искать покровительства дяди, генерала Талызина), что они надолго отняли сон у Алексея. Поэтому в пути он добирал недобранное. И почудилось ему, что лишь только двухэтажные «губернские» дома на Покровской – главной улице Нижнего Новгорода – сменились одноэтажными халупами, а потом Арзамасская застава потонула в пыльно-пеньковой завесе (жители окраин промышляли тем, что трепали и пряли пеньку на лужайках возле своих домов), так почти сразу вслед за этим выплыли из серенькой весенней мороси дома северной столицы.

Скоростью своего проникновения в Петербург Алексей был немало изумлен. Кто-то из соседей-помещиков, побывавший в столице, рассказывал, что еще до городской заставы каждого прохожего-проезжего останавливали пикеты раз по пять и с пристрастием допрашивали, куда едет да откуда. Затем на городской заставе его опять подвергали долгому, томительному расспросу. Выехать из города без подорожной и таких же строгих опросов также нельзя было. А тут – никто даже и внимания не обратил на деревенский возок! Застав Алексей вообще не видел, только на самом въезде в столицу, да и там никого не задерживали. Не случилось ли чего, подумал тогда наш герой, но тут же обо всем забыл, всецело занятый разглядыванием петербургских окраин.

К его изумлению, они почти ничем не отличались от нижегородских. Дома небольшие, деревянные, даже на знаменитом Невском прешпекте. Деревянной была и церковь Казанской Божьей Матери, поразившая Алексея красотой. Но уж коли встречался дом каменный, то он более напоминал дворец, а не человеческое пристанище. Ничего подобного Алексей вообразить не мог. Он так и ахнул, увидав витрины модных лавок. Сколько богатого товара! Особенно поражали «Нюрнбергские лавки», которые помещались на Невском. Уж на что тетушка жила в Васильках схимницей-затворницей, а все ж и в ее беседах с соседками, изредка приезжавшими на чаек, либо за рецептом нового варенья, либо за узором для канвы, звучало порою это волшебное, манящее словосочетание: «Нюрнбергские лавки»... Чудилось, здесь было все, от булавки до тяжелых рулонов богатых тканей!

Теперь Алексей окончательно проснулся и едва успевал вертеть головой по сторонам. Вот она, столица! Ух, какова! Чего в ней только нету! Правда, вот оленей, на которых, сказывали, тут ездили по улицам, Алексей так и не увидел. Но в Петербурге запрягали оленей в сани только зимой, а теперь стояла какая-никакая, а весна.

– Куды теперь, барин? – спросил с тяжким вздохом кучер, с трудом скрывая усталость и раздражение. Кучер был не Улановых – соседский, из Матешкина. Да и весь выезд был не улановский: соседи отправляли столичной родне деревенские гостинцы, поэтому оказия молодому хозяину Васильков выпала очень удобная.

Алексей наотрез отказался тащиться в столицу в своем старинном возке, обшитом медвежьей шкурою изнутри так, что окошки напоминали маленькие подслеповатые глазки, опущенные коротенькими ресничками. Вдобавок тетушка уперлась: ни за что не хотела переставлять возок на колеса, опасаясь, что он увязнет в расквашенной дороге. Но заявиться в середине апреля в Петербург на санном ходу... Никогда в жизни! Летняя повозка не могла бы выдержать столь долгого пути, да и холодна она, первоапрельские ночи еще студены. Алексей потребовал было заказать в Нижнем новую повозку, благо он теперь сам был хозяином своим деньгам,

однако рассудил, что нечего тащить в столицу напоказ провинциальную дурь, лучше купить и коляску важную, и коней в Петербурге. Вот оглядится там, пообвыкнется, все и справит, что положено молодому человеку его круга: и гардероб, и оружие, и лошадей с коляскою, ну а пока дядюшка-генерал, конечно же, не откажет предоставлять племяннику свой выезд (в воображении Алексея это была самое малое четверка вороных!) – не каждый день, понятно, а хотя бы от случая к случаю.

Алексей велел кучеру ехать к Лейб-кампанскому корпусу Зимнего дворца, где стоял один батальон Преображенского полка и держал квартиру генерал Талызин. Подивился неописуемой красоте здания, привольного раскинувшегося на невской набережной. А арка была какова, а Дворцовая площадь!.. Алексей уж притомился удивляться. От переизбытка восторга он впал в некое полусонное состояние и, точно во сне, воспринял новость: дядюшка Петр Александрович с квартиры в Лейб-кампанском корпусе съехал каких-нибудь три недели назад, а теперь обретается на Невском, так что мимо его дома Алексей непременно проезжал по пути сюда. Дом находится как раз возле католической церкви, сдававшей часть своего помещения тем самым знаменитым «Нюренбергским лавкам», на кои нынче засматривался Алексей.

Покуда Алексей бегал в Лейб-кампанский корпус, кучер не скучал. Кинув господское добро без присмотра (налетай кому не лень, уноси что приглянулось!), он с восторгом пялил глаза на тощего мужичонку в легком кафтанишке и шапке-гречевнике<sup>2</sup>, который тягал туда-сюда на веревке замороженную собачонку, то и дело азартно крича ей:

– А ну, сучка, покажь, как *это* делает мадам Шевалье?

Особенно мужик упирал на слово *это*.

«Кто такая мадам Шевалье и что же она делает?» – удивился было Алексей, и в следующее мгновение собачонка хлопнулась на спину и раскинула во все стороны лапки.

Зрители так и зашлись от смеха! Хозяин сдернул свой гречевник и пошел с ним по кругу. Полетели гроши да полушки, кто кидал и копеечку.

– А ну, – выбился из толпы какой-то парень, – меня она послушает?

– За показ пяточок, – строго предупредил хозяин.

– Да ты озверел, мужик?! – ошалел было парень, однако, видно, ему крепко попала вожжа под хвост: – А, ладно, подавись! Где наша не пропадала! – Швырнул пятак в шапку: – Ну, кажи, как мадам Шевалье, сука хранцузская, *это* делает?

Собачка опрокинулась на спину и задергала растопыренными лапками. Особенно старательно разводила она задние лапы, что заставляло толпу просто-таки рыдать от восторга.

Алексей пожал плечами, не понимая смысла шутки, только ощущая в ней нечто непристойное. «Кто ж такая эта самая мадам? Да черт ли мне в ней? Надо на Невский возвращаться!» И он окликнул кучера.

Тот мученически завел глаза, услышав, что придется ехать обратно, а впрочем, покорно заворотил коней, хотя ему самому надобно было на Лиговку. Однако, отыскав искомый дом, отстоявший несколько поодаль от дощатой дорожки, проложенной для удобства пешеходов по краю каменной мостовой, он торопливо вывалил прямо у ворот небогатое добро Алексея, в числе коего были и деревенские гостинцы, скрупулезно отобранные тетушкой (чтобы и в грязь лицом не ударить перед двоюродным братцем, и не особенно разориться), и, громогласно божась, кони-де навовсе засекулись, вот-вот падут, не добредя до хозяйской конюшни, – погнал притомившихся лошадушек со всей возможной прытью.

Алексей тупо смотрел ему вслед, слишком усталый и ошеломленный, чтобы даже браниться. Подобной наглости он и вообразить себе не мог. Люди Улановых держались тетушкой Марьей Пантелеевной в большой строгости, и даже такое разболтанное существо, как этот кучер Савелька, ходило бы у нее по струночке. Ну а коли не ходило у Алексея, значит, он сам

<sup>2</sup> Вид старинного головного убора, напоминающего гречневый пирог.

виноват. Значит, тетушка оказалась права, когда с горячностью уверяла, что к самостоятельной жизни он еще совершенно не способен, поскольку повадками – сущее дитя малое. Что же она все права да права, ну прямо как нанятая, эта тетушка!..

Радуясь, что пешеходов поблизости нету и никто не сделался свидетелем его унижения, Алексей дотащил свои пожитки до малого палисадничка, окружающего двухэтажный дом, и снова помянул Марию Пантелеевну недобрым словом: она ведь настаивала, чтобы Алексей взял с собой хоть одного человека из дворни! Но перегруженная повозка не осилила бы дополнительного седока, поэтому пришлось смириться с самостоятельностью. Впрочем, Алексею к тому не привыкать стать было. Собственного камердинера у него отродясь не водилось, как, впрочем, и у покойного отца, да и тетушка обходилась без горничной.

«Дурень я, дурень, – мысленно стукнул себя по лбу Алексей. – Ну чего надрываюсь, спрашивается? Пускай полежат вещички вон под теми кустиками, а я тем временем живой ногой сбегая в дом к дядюшке и спрошу у него какого-нито человека». И, сложив узлы да корзины поаккуратнее, Алексей зарыл к высокому крылечку с темными от недавно сошедшего снега ступеньками.

Он сперва подергал шнурок звонка, но отклика никакого не услышал. Возможно, шнурок был где-то оборван? Пришлось стучать, и все время, пока Алексей бил в косяк сперва осторожно, согнутым пальчиком, потом постукивал кулаком, потом громыхал что было мочи, он краешком мыслей удивлялся, почему дядюшка выбрал для себя столь невзрачное жилище. Уж казалось бы... с его званием, с его положением при дворе... Впрочем, тетушка не раз упоминала о скромности кузена, о его неприхотливости, доходящей до аскетизма. Он же в ордене каком-то состоит, не то монашеском, не то еще каком-то там, принадлежа при этом как бы к двум церквям: православной, отеческой, и еще каким-то боком – к католической. Диковинно и странно, ну да что ж: куда поп, туда и приход. И до нижегородской сельской провинции дошли слухи о страстной приверженности императора Павла Петровича какому-то неведомому Мальтийскому ордену, коего он был не просто членом, но и гроссмейстером. При этом, сказывали, император был столь глубоко религиозен, что в спальне его, там, где клал он пред образом Спасителя земные поклоны, паркет был потерт от частых прикосновений лба! Как можно молиться враз двум богам, Алексей не постигал, но хорошо понимал: ежели при дворе такая повелась мода, дядюшке просто деваться некуда, приходится не отставать от других.

Между тем он все еще топтался на крылечке, ибо никто не спешил отпереть и спросить, чего изволит гость. Дома никого нету, что ли? Ну ладно, дядюшка может быть в службе, а челядь? Поразбежалась, пользуясь отсутствием барина? Или оглохли все враз? Алексей в досаде стукнул кулаком по самой двери – и, к его изумлению, она отворилась.

– Есть кто-нибудь? – крикнул он, входя в полутемные сени, а потом и в просторную прихожую, откуда вела лесенка во второй этаж. По стенам прихожая была вся заставлена большими ларями для шуб и шинелей и увешана оленьими рогами, на которых, очевидно, в случае сборища гостей, во множестве красовались бы треугольные военные шляпы. Сейчас красиво отполированные рога были пусты, а в доме по-прежнему царила тишина.

Алексей пожал плечами, не ведая, что теперь делать. Потом решил, сделал еще шаг по направлению к высокой двери и приотворил ее. Он увидел перед собою большую проходную залу, где люстры были затянуты тканью от пыли, а окна завешаны, так что здесь царил полумрак. В конце залы была еще одна дверь – приоткрытая, и Алексей, поминутно во весь голос оповещая о своем прибытии (менее всего он желал бы, чтобы откуда-то выскочил какой-нибудь заспанный слуга и вцепился бы в него, словно в татя-грабителя), быстренько перебежал через залу и вошел в следующее помещение. Вошел – и замер на пороге.

Это была столовая комната, причем обставленная с такой утонченной роскошью, какой Алексей даже не ожидал увидеть в этом наружно неуютном доме. Комната была небольшая,

отделанная дубом, увешанная натюрмортами, призванными возбудить как кревоугодие, так и взор гостей.

Алексей не больно-то понимал в изящном искусстве. Правда, тетушка всячески привчала крепостного малевальщика Спирию, украсив его картинами барский дом, однако сии художества отличались от картин, увиденных Алексеем сейчас, как... как одежонка кухонной стряпухи отличается от бального туалета. Даже на его невежественный взгляд, пред ним были картины выдающихся художников. Как матово лоснились на них бока спелых персиков, как золотился лимон, истекал соком ломоть окорока, чудилось, дышал жаром свежеиспеченный хлеб, играло искрами вино в бокалах, поражали взор пышные невиданные цветы! Впрочем, не живописный, а натуральный стол был тоже весьма хорош. За ним могло уместиться персон двадцать, однако он был накрыт на два куверта. Сверкало серебро, безмятежно трепетали, оплывая, свечки. Несколько больших серебряных блюд были накрыты крышками, которые, однако, не в силах оказались преградить дорогу манящим ароматам, и усталый, проголодавшийся Алексей невольно сглотнул слюну. А вид десятка винных бутылей возбудил в нем немалую жажду. Наверняка в этих пыльных сосудах таились вина, которых в жизни не пробовал он, знавший доселе только лишь домашнюю наливку!

Алексей подошел ближе к столу и принялся с вожделением разглядывать крахмальные белоснежные салфетки с вензелем «ПАТ», лежащие на тарелках. Чистый снег, а не белье столовое. А каковы бокалы! Не серебряные стаканчики со стершимся от времени узором, как у них дома, а сверкающий хрусталь. Вот роскошь! Вот красота!

Вдруг Алексей заметил, что на дне одного из бокалов остался темно-бордовый осадок. Выходило, кто-то совсем недавно пил из него. Возможно, дядюшка ждал-ждал своего приятеля, званного к застолью, почувствовал жажду, выпил немного. А потом его отвлекли какие-то неотложные дела? Стол ведь сервирован не менее часа назад, свечи уже несколько оплыли. Приятель, значит, так и не пришел...

А что, ежели дядюшка ждал вовсе не какого-нибудь таинственного приятеля, а *даму*? Даму сердца? Тогда понятно, почему удалена прислуга: очевидно, Петр Александрович желал сохранить ее визит в тайне.

Ох, господи! Выходит, Алексей прямиком угодил на любовное свидание?! Хорош племянничек, медведюшка деревенский!

А что, если... если дом вовсе не пуст? Что, если дядюшка и его прекрасная дама сейчас... *в постели*? На ложе страсти, как пишут в романах. «Не в силах совладать с пылкостью давно скрываемых чувств, они забыли о еде и с наслаждением предались иным утехам...»

Воображение Алексея мигом нарисовало картину разбросанных подушек, смятых простыней, столь же белоснежных и кружевных, как салфетки, может быть, тоже с вензелем «ПАТ», а между ними... От волнения не вполне соображая, что делает, он схватился за одну из запыленных бутылей, стоявшую несколько в стороне от других и хранившую на себе следы пальцев – видимо, именно из нее наливалось вино в бокал, – и наполнил его. Поднес к губам – но не успел выпить, услышав скрип двери.

Алексея ожгло стыдом. Поспешно, едва не расплескав, он поставил бокал и оглянулся самым дурацким видом, отлично понимая теперь, как чувствует себя воришка, забравшийся в пустой дом и схваченный хозяином на месте преступления.

Однако двери оставались по-прежнему полуприкрыты, никто не врывался в столовую, пылая возмущением и желанием немедленно прищучить незваного гостя.

Алексей выглянул. Никого в зале, никого и в маленькой гостиной, куда он вышел, перебежав столовую (комнаты располагались анфиладою). Видимо, ему послышалось.

Он обошел гостиную, обставленную весьма скромно, однако изысканно, посидел на диванчике перед остывшей печью, бездумно глядя в окно, на гаснущий день. Пить хотелось по-прежнему. Наконец Алексей, пожав плечами, воротился в столовую и снова взялся за бокал.

В ту же минуту что-то гроыхнуло за стеной – было такое впечатление, будто рухнуло нечто тяжелое. Опустив на стол бокал и едва не расплескав его, Алексей вылетел в залу, ибо звук исходил именно оттуда.

Что за чудеса?! Один из стульев, доселе стоявший вместе с другими у стены, валяется посреди комнаты! Сам упасть он никак не мог – кто-то должен был швырнуть его, да с не маленькой силою: стул ведь тяжелый, дубовый.

Вновь торопливая пробежка по всему первому этажу, вновь недоуменное пожатие плеч – пусто в доме! Алексей осторожно прокрался наверх и, замирая от стыда, постоял на площадке лестницы, глядя на несколько обращенных к нему и запертых дверей. Потянул одну – это явно кабинет, в углу мольберт, несколько шпаг и рапир, но он же и библиотека – вот книжные шкафы, конторка, стол, заваленный журналами и книгами, очень красивый секретер карельской березы с восемью шкафчиками, в одном из которых торчал длинный ключ... Много картин. Акварельный портрет горбоносого господина, изображенного в профиль, с темными, тщательно завитыми, но ненапудренными волосами, в белом шарфе. Наверху белым изображен был какой-то странный шестиугольник. Что же это за знак? И чей это портрет? Уж не дядюшкин ли?

Алексей даже несколько оторопел от такого открытия. Дядюшка Петр Александрович в его воображении был этакий маститый старец, покрытый сединами, но внезапно Алексей осознал, что перед ним довольно-таки молодой человек, годов этак тридцати четырех, вряд ли годившийся ему в отцы – по крайности, лишь в старшие братья.

Каждую следующую дверь Алексей открывал с особенной опаской, но все комнаты были безлюдны – в их числе и спальня, куда он заглянул не прежде, чем окончательно сгорел со стыда. Занавеси алькова задернуты, тишина. Значит, это было все-таки не любовное свидание!

Алексей побрел вниз; покачал головой, глядя на стул, загадочным образом очутившийся посреди залы. Этому могло быть только одно объяснение: домовый шалит! Не по нраву ему, что гость освоился в чужом жилище и даже попытался без спросу испить хозяйского вина, – вот и разошелся суседко. Надо, наверное, было хоть у него позволения спросить, чтобы жажду утолить? А что особенного? Бывало, вежливое обращение ко «вторым», то есть ко всякой нечисти, спасало жизнь человеку. Скажем, есть ли более зловредное, враждебное человеку существо, чем банник? Хлебом его не корми, дай запарить запозднившегося посетителя баньки до смерти, а то и ободрать с него ключьями кожу с живого! Однако известен случай, когда человек, спасаясь в полночь от упыря, гнавшегося за ним с ближнего кладбища, забежал в баню и взмолился о защите у ее хозяина. Упырь потребовал своей добычи, но банник оказался непреклонен. Сказавши: «Он мой гость, он у меня защиты просил!» – начал биться с упырем, спасая человека, и бились они до третьего петушиного крика, когда всей нечисти предписано провалиться в бездны преисподние. Человек ушел живым, хоть и поседел за эту ночь, как лунь.

– Батюшко-домовой, – выдавил Алексей, чувствуя себя при этом изрядно глупо: то, что естественно звучало в их стареньком доме в Васильках, выглядело сущей нелепостью в чопорной столичной зале. – Дозволь в твоём обиталище обретаться, не обидь, я ведь не со злом явился, а к дядюшке, из Васильков нынче же прибыл, но его дома нету, я только испить немножко хотел, горло с дороги пересохло...

Внезапно позади него раздалось невнятное восклицание. Волосы на затылке Алексея поднялись дыбом. Осенив себя крестным знаменем, он оглянулся, готовый увидеть бог весть что, самую несообразную нечисть, но только не то, что увидел.

В дверях, ведущих из прихожей, стояла дама в длинном черном плаще и широкополой шляпе и смотрела на Алексея с таким же изумлением, с каким он смотрел на нее. Впрочем, уже через мгновение глаза нашего героя выразили иное чувство.

Господи! Какая же она была красавица!

## Июнь 1790 года

– Я ожидала сегодня великого князя с супругою. – Кажется, императрица только сейчас заметила, что сын не появился на куртаге<sup>3</sup>. – Что там опять у него в Гатчине? Очередные маневры?

В голосе ее звучала язвительная насмешка. Вообще она явно не была огорчена отсутствием сына – без него Екатерина чувствовала себя свободнее. Ей мешали его осуждающие взгляды, да и вообще присутствие тридцатичетырехлетнего сына для женщины, любовнику которой всего лишь двадцать три, а ей самой... впрочем, не стоит об этом.

Гатчина была подарена Павлу с одной целью: удалить от двора, от людей эту одиозную фигуру, и этот подарок, который был сделан для того, чтобы от него отвязаться, пришлось ему необыкновенно по душе. Как северная деревенская резиденция, Гатчина была великолепно: дворец, вернее, замок, представлял собой обширное здание, выстроенное из тесаного камня, прекрасной архитектуры. При дворце имелся обширный парк, в котором росло множество старинных дубов и других деревьев. Прозрачный ручей вился вдоль парка и по садам, обращаясь в некоторых местах в обширные пруды, вернее, озера. Вода в них была до того чиста и прозрачна, что на глубине двенадцати-пятнадцати футов<sup>4</sup> видны были камушки, в этих прудах плавали большие форели и стерляди.

Однако вовсе не красотами природы влекла Павла Гатчина – здесь он устроил себе особый мирок, во всем отличный от ненавистного петербургского. За неимением другого дела, вся деятельность его нетерпеливой натуры свелась к устройству так называемой гатчинской армии – нескольких батальонов, отданных под его непосредственную команду. И забота об их обмундировании и выучке поглотила его всецело. Наконец-то он смог где-то насадить тот милитаризованный порядок, к которому властно влеклась его душа (вот уж теперь можно было не сомневаться, что он истинно сын своего отца!). Мечты о порядке в государстве преобразовались в хлопоты о строгой дисциплине, которая в идеале являлась воинской дисциплиной. Однако не зря говорят, что Павел был натурой противоречивой. Его не менее властно влекли к себе рыцарские идеалы, воплощением которых для него с раннего детства был Орден госпитальеров, или иоаннитов, сиречь орден Святого Иоанна Иерусалимского, чаще называемый просто Мальтийским, оттого что уже в течение нескольких веков резиденция великого магистра ордена располагалась на острове Мальта.

Проникновение госпитальеров в Россию началось еще в петровские времена, когда христиане пытались выступить единым фронтом против мусульман. В ту пору братство называлось в России Ивановским, по имени святого патрона ордена. Петр отправил на Мальту с официальной миссией графа Бориса Шереметева, который воротился оттуда с мальтийским крестом на груди, первым из русских сделавшись кавалером и рыцарем! Однако союза не получилось, потому что процветающий орден требовал слишком большой цены за свои услуги.

Екатерина в свое время обратила внимание на значение Мальты в стратегическом отношении и просчитала те выгоды, которые можно извлечь для России из дружбы с гроссмейстером ордена. Одаренная необыкновенным искусством отыскивать себе союзников в самых неожиданных местах, использовать для этого самые странные случаи, она вошла в тайные переговоры с тогдашним гроссмейстером ордена, принцем Роганом, и старалась привлечь госпитальеров на сторону России в ее войне с турками. В обмен на это было установлено великое приорство ордена в Ржечи Посполитой. Роган заключил секретный союз с Екатериной, и рыцарские корабли, под предводительством командора Фляксляндена, соединились с русским

---

<sup>3</sup> *Куртаг* – приемный день при дворе.

<sup>4</sup> *Фут* – мера длины около 30,5 см.

флотом, возглавляемым графом Алексеем Орловым, в Архипелаге. Однако союз Екатерины с Роганом был разрушен происками министра Людовика XV Шуазеля, грозившего отнять у ордена все имущество, которым он владел во Франции, если отношения с Россией не будут прерваны. Под угрозами французского короля Роган отказался от всех обязательств перед Россией. Однако он передал нашему правительству все карты и планы, которые были заготовлены орденом для экспедиции на Восток. Екатерина сохранила к ордену некое странное чувство, которое можно было бы назвать политической любовью, и продолжала помогать ему. Она передала это чувство и это отношение сыну, однако не учла того огромного впечатления, которое романтика рыцарства, отречения от мирских благ во имя воинских подвигов (а воинские подвиги страстно влекли милитаризованную душу Павла), произведет на цесаревича.

Тут тоже не обошлось без старого масона и мистика Никиты Панина. Когда его воспитанник был еще подростком, он получил от Никиты Ивановича в подарок книгу «История гостеприимных рыцарей святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом родосскими, а ныне мальтийскими рыцарями. Сочинение г-на Верно д'Обефа, члена Академии изящной словесности». Грубые и мужественные лица рыцарей, их подвиги во имя Христова и Гроба Господня очаровали наследника русского престола так, как никогда не очаровывали его деяния великих предков по защите и расширению границ в России. Он не любил свою страну и боялся ее. Ему показалось, что сверкающий кристалл Мальтийского рыцарства создаст вокруг него необходимый круг света, в котором можно будет скрыться от всех тех ужасов, подозрений, разрывающего честолюбия – от всего, что терзало чувствительную и в то же время сухую душу Павла. Именно поэтому, учредив еще в 1776 году известный Инвалидный дом для русских матросов, великий князь посвятил его ордену и велел поместить на фронтоне здания восьмиконечный мальтийский крест, который казался ему похожим на звезду небесную. Менее романтические натуры усматривали в нем сходство с пауком.

Екатерина, женщина трезвомыслящая, отнюдь не была так уж увлечена мальтийскими рыцарями, как прежде, во времена дружбы с Роганом. Последнее разочарование вызвал у нее блестящий Юлий Литта, необыкновенный красавец и молодец, широкоплечий, с ослепительными черными очами, богатырского роста, в 1789 году явившийся на русскую службу. К тому времени он был капитаном галеры (а надо сказать, что основной службой рыцарей была оборона Средиземного моря от турецких пиратов, поэтому все они считались отменными моряками), а в России тогда вообще всех иностранцев встречали с распростертыми объятиями. Неудивительно, что 7 марта 1789 года состоялся указ о принятии мальтийского кавалера и тамошнего флота капитан-командора в нашу службу капитаном генерал-майорского ранга, с жалованьем 1800 рублей в год плюс к тому на стол по 150 рублей в месяц. Не прошло и полугода, как Литта за участие в первом Роченсальмском сражении, где он командовал галерами правого фланга, был произведен в контр-адмиралы, получил золотую шпагу и Св. Георгия 3-го класса.

Однако кампания следующего года не была благоприятна для русского оружия, и причиной сего стал именно наш черноглазый кавалер, который мог быть хорошим исполнителем чужих приказов, однако принимать самостоятельные боевые решения оказался не способен. Его подчиненные не могли понять его приказов, не видели смысла в его действиях. Литта был уволен от русской службы «впредь до востребования», что означало дипломатичное «навсегда». Прекратив боевую деятельность, он обратился к занятиям более мирным: сделался ходатаем по делам своего ордена, который изо всех сил желал найти покровительство в России, чтобы возместить свои потери в других странах. Папским нунцием в Петербурге в то время был брат Литты, Лоренцо, а то, что наследник русского престола самозабвенно увлечен игрой в рыцарей, открывало перед госпитальерами перспективы поистине баснословные.

В этом братстве, как и во многих других тайных обществах, огромное значение придавалось внешним обрядам, и детская душа Павла тянулась к их эффектности и внешнему блеску

так же сильно, как тянулась она к парадом, артикулам и воинской муштре. Поэтому в тот жаркий июньский день, когда Екатерина радостно убедилась, что нелюбимый сын снова заигрался в свои гатчинские игрушки, он был занят отнюдь не ими.

В Гатчине чествовали святого Иоанна Крестителя – покровителя Мальтийского ордена – и принимали в ряды госпитальеров капитан-поручика русской армии Петра Талызина.

## Апрель 1801 года

– Дядюшка, говорите? – повторил Бесиков с таким ехидным поджатием губ, что Алексею мгновенно сделалось ясно: ни единому его слову смуглявый дознаватель не верит, поэтому нечего и пытаться что-то говорить. Однако бедняга все еще не оставил надежды развеять витавшее над ним ужасное подозрение:

– Дядюшка! Троюродный! Петр Александрович был кузеном тетушки Марьи Пантелеевны Талызиной, а также матушки моей, покойной Анны Пантелеевны Улановой, в девичестве Талызиной тож.

– Давно ли вы виделись с генералом?

– Никогда! – истово замотал головой Алексей. – Не имел чести такой. Письмо его, о запрошлый год пришедшее, в коем он приглашал меня в Санкт-Петербург, обещал оказать при надобности протекцию и даже представить ко двору, – это письмо, да, я читал.

– В позапрошлом году звал в гости? А что ж вы столь долго собирались принять приглашение?

– Тетушка не пускала. В ту пору мне едва семнадцать сравнялось, вот она и говорила, не дорос, мол, я еще до столичного житья. Тут-де, в столице, вертепы разврата на каждом углу, всяк норовит ближнего своего облапошить да под монастырь подвести, ну так я первым среди них и буду, – признался Алексей с тем простодушием, которое всегда было его первейшим качеством.

– Тетушка ваша, вижу, мудрая дама, – хмыкнул развалившийся на стуле Варламов, поднося ко рту трубочку.

Могучий Дзюганов тотчас подал ему огоньку, и Алексей быстро устался на Бесикова. Не потому, что тот казался ему столь уж симпатичным, скорее наоборот! Он предпочитал смотреть на Бесикова, поскольку багровая рожа Дзюганова с ее непропорционально большим лбом, крохотными, глубоко упрятыми глазками и бородавкою на щеке внушала истинный страх.

– Да уж, – кивнул Бесиков приятелю и вновь вонзил в Алексея свои буравчатые глазки. – Отчего ж нынче намерения многоуважаемой Марьи Пантелеевны столь разительно переменялись, что она решилась-таки отпустить вас в здешние вертепы?

– Так ведь я наследство получил, – сообщил Алексей со всей возможной искренностью.

– Наследство? Какое же это наследство?

– После батюшкиной кончины я сделался обладателем Васильков с прилегающими землями, а также трехсот душ народу.

– Не бог весть что, но у иных и этого не имеется, – одобрительно кивнул Варламов, но Бесиков нахмурился:

– Не постигаю связи...

– Ну как же? – заторопился объяснить Алексей. – Покуда был живой батюшка, всем у нас в доме и в деревне заправляла тетушка. Батюшка был человек тихий, болезненный, ну, тетушке и пришлось волей-неволей взвалить на себя все хлопоты. Она меня и вырастила, образование мне дала, потому что сама некоторое время вместе с моей матушкой обучалась у лучших учителей нижегородских, и языки до сих пор знает изрядно, и на музыках играет, на клавикордах и мандолине. Дедушка мой, покуда состояние не спустил, был богач, на дочерей ничего не жалел. Они когда-то первыми невестами в Нижнем слыли. Потом-то, когда дедушка проигрался в дым-прах, еле смог пристроить маменьку за васильковского помещика Уланова, вдовца, бывшего ее на двадцать годков старше. Ну а Марье Пантелеевне так и не сыскалось партии: не идти же, в самом деле, столбовой дворянке за купчика какого-нибудь! Матушка померла, рожая меня, так что тетушке пришлось...

– ...волей-неволей взвалить на себя все хлопоты, – закончил за него фразу Бесиков со своей злоехидной усмешкой.

– Экая жалостная история! – покачал головою Варламов. – А подай-ка ты мне, брат Дзюганов, еще огоньку, что-то гаснет трубочка, не быть ли дождю?

– Извольте продолжать! – нетерпеливо махнул рукою Бесиков, и Алексей зачастил, словно отвечал урок:

– Марья Пантелеевна мне родная тетушка и вырастила меня, однако же не сказать, чтобы я всем доволен был, как хозяйство поставлено и дом ведется. Вот и известил ее, когда батюшка отдал богу душу: отныне сам-де буду во все дела вникать, как положено законному владельцу имения. В полевые работы, в разведение скота, в уплату податей. А на ней останется дом и все огородные дела. Ах так, ответствовала тетушка, ну, в таком разе прощай, племянник Алешенька, завтра же я отъеду от тебя прочь. Давно мечтала упокоить старость свою в монастыре, вот и поеду в Дивеево, там, сказывают, объявился святой старец Серафим, при нем община сестер, у них и стану искать себе пристанища. Ты что, говорю, тетушка, никак с печки упала? Какой старец Серафим? А я как же? А огород? А всякие хлопоты? Либо полон дом, либо корень вон, воскликнула тетушка. Либо я останусь полновластной хозяйкой в Васильках, что в доме, что в деревне, либо...

– ...ищи меня в некотором царстве, в некотором государстве, у старца Серафима, – вновь закончил фразу Бесиков, так скучно кивая, словно историю Алексееву слушал с превеликим трудом.

– Ну да, вроде того. И даже начала собирать вещички! – воскликнул Алексей испуганно, словно бы вновь переживая те мгновения, когда вдруг осознал: никогда в жизни не справиться ему с имением без тетушки! Она все успевала, все видела разом, все про всех знала, всех умела держать в ежовых рукавицах, так что даже самый ленивый из крепостных, застарелый бобыль Тишка, которого никак не удавалось свести с пожилой девкой Василисою – и жениться-то ему лень было! – ходил у нее по струночке и оброк исправно платил, и недоимок по его вине за хозяйством не числилось. Да у Алексея все работники поразбредутся: они ведь его дружки-приятели с детства, не видят в нем барина-хозяина! Как бы он ни чванился, все же понимал, что не обойтись без тетушкина совета и твердой руки. – Но все-таки, пусть и не сразу, мы поладили. Я отступился от решения быть помещиком и снова предоставил тетушке полную власть в имении. Она же скрепя сердце согласилась отпустить меня в столицу...

– Скрепя сердце! – громко повторил Бесиков, воздев указательный палец. – Слыхали, господа?

«Господа», в лице Варламова и Дзюганова, враз значительно кивнули.

– ...к дядюшке Петру Александровичу, – закончил Алексей. – И вот он я тут.

– Туточки, – подхватил неугомонный Бесиков. – И что же вы сделали первым делом, прибывши в северную столицу? Зачем дядюшку придушили? Нехорошо, молодой человек! Чем он вам не угодил, что вы тотчас по приезде подушками его завалили, спящего, доступ воздуху прекратив в пути дыхательные? Да еще небось сами сверху налегли всей тяжестью молодой плоти? Ай-яй-яй! Неужто господин Талызин встретил вас неприветливо? Неужто не стал скрывать, что начисто позабыл о приглашении, сделанном чуть не два года назад, да и вообще – приглашал вас только в шутку, желая сделать милый реверанс, оказать знак внимания, как это принято меж воспитанными людьми, но на самом деле вовсе не имел намерений вешать себе на шею деревенского увальня, от которого даже родная тетка готова была избавиться любой ценой?

Алексей вытаращил глаза.

Этот Бесиков был истинный бесов сын. Все в его устах получало некий извращенный смысл, чудилось, он на мир смотрел, нелепо искорячась, промеж ног своих, как поступают деревенские суеверы, желая увидеть домового.

Домового? Алексей аж задохнулся от внезапной догадки. Тот скрип двери и падение тяжелого стула... Он-то, дурень, начал подозревать батюшку-домового, а вышло, что, пока Алексей в недоумении шастал по дому, здесь же находился и убийца Талызина, который только что расправился со своей жертвой и пытался скрыться незамеченным! Мертвый, удушенный дядюшка, конечно же, лежал в своей спальне, в алькове, надежно скрытый задернутыми занавесями. Алексей посоветился туда заглядывать, а загляни – увидал бы труп, смекнул, что дело неладно, поднял бы тревогу и сейчас не стоял бы пень пнем перед этим... Бесиковым...

А впрочем, еще неизвестно, как дело повернулось бы, загляни Алексей в альков. Может быть, убийца тотчас же на него набросился бы. Наверняка! Вообще странно, что он не покусился на жизнь Алексея. И кто знает, может быть, непременно покусился бы, когда б не появилась *она*. Вышло, что *она* спасла жизнь Алексею, а не только...

Он ощутил, как вся кровь при этом воспоминании встрепенулась и прихлынула к лицу.

Конечно, он самым постыдным образом покраснел; конечно, это не могло остаться незамеченным Бесиковым и, конечно, получило в его толковании новый, противный правде смысл.

– Что? – Глаза-буравчики так и винчивались в Алексея. – Что вы вспомнили? Говорите! Ну! Не сомневайтесь: в крепости из вас рано или поздно, так или иначе выбьют признание в содеянном, однако собственное раскаяние крепко облегчит вашу участь. Но имейте в виду: чем дольше вы будете запирается, тем большие беды и неприятности навлечете на свою голову. Лично у меня нет никаких сомнений ни в виновности вашей, ни в мотивах свершенного вами злодеяния.

– А коли вы такой умный, что сами все наперед знаете, так чего надо мной измываетесь? – зло перебил Алексей. – Чего допросами мучаете? Отправьте в крепость – и дело с концом! Ничего, на вас свет клином не сошелся. Небось и в узилище сыщется человек спокойный, понимающий, он не станет торопиться возводить облыжные обвинения на юношу, который ни сном ни духом... Кстати, о сне! Ну можете ли вы представить себе злодея, который задушил бы родного дядюшку, как, по вашему уверению, это сделал я, а потом не позаботился унести ноги, а улегся спать на диванчике в его кабинете. Уж, казалось, можно было бы предвидеть, что обвинения на него падут! По крайности, позаботился бы о каких-то доказательствах своей невиновности. Мог бы представить дело так, будто дядюшку удар хватил, ну, этот, а-по-плеки-ческий, что ли, – вспомнил Алексей недавно услышанное от того же Бесикова словечко, – ну, вроде бы покойный своей смертью упокоился. Можно было хоть подушки убрать от лица...

– А вы почему знаете, что лицо его было закрыто подушками, коли, как уверяете, не имеете к делу никакого касательства? – с неожиданным проворством, опередив даже проныру Бесикова, подскочил со стула Варламов, приблизив свое толстошее лицо к лицу Алексея, и вдобавок грозная тень Дзюганова на него надвинулась, и Бесиков, конечно, в стороне не остался, и Алексей почувствовал себя так, словно это его, а не бедного дядюшку задавили, «доступ воздуху прекратив в пути дыхательные».

– Позвольте! – пискнул он. – Откуда я знал? Так ведь вы же сами мне об том сказали!

– Вот уж нет! – Бесиков даже ладонь вперед выставил. – Я сказал лишь, что его *завалили подушками*, умертвив таким образом, однако вполне могло статься, что затем убийцы убрали орудия убийства от лица жертвы. Вы же, молодой человек, себя выдали, в точности описав, как выглядел труп, когда он был обнаружен камердинером покойного, Феоктистом Селиверстовым.

– Вот те на! – изумился Алексей. – Никакого Селиверста Феоктистова...

– Феоктиста Селиверстова! – уточнил Бесиков.

– Да какая разница? Никого я и в глаза не видел! Никого совершенно в доме не было, кроме меня!

– И этим вы воспользовались, не так ли? – значительно кивнул Бесиков. – Что же до камердинера, то его действительно не было в момент совершения убийства, он воротился позже. По его словам, нынче господин Талызин ждал к себе какого-то гостя. Означенный Феоктист Селиверстов приготовил легкие закуски (он также исполнял у генерала обязанности кухмистра) и сервировал стол, ну а потом хозяин позволил ему навестить его, Феоктиста, извините за выражение, пассиву, которая служит в горничных у госпожи Федониной, проживающей в собственном доме на Литейном. Камердинер отсутствовал около трех часов и за это время успел лишиться своего хозяина. Возвратясь, он увидел на столе следы пиршества, поднялся во второй этаж разузнать, нет ли у генерала каких-то пожеланий, и тут, к своему изумлению, обнаружил вас, спящего мертвым сном на диване. Отчаявшись добудиться, прошел в спальню, где и нашел своего хозяина, воистину *спящего мертвым сном*. Ну что Феоктисту Селиверстову еще оставалось делать, как не полицию вызывать? Он и вызвал нас...

Алексей слушал его, нервно тиская руки, а мысли бежали в голове одна быстрее другой. Словно уловив их, Бесиков высоко заломил бровь:

– Небось станете нам голову морочить, уверяя, что убийцей дядюшки сделался тот человек, коего он ждал к столу, накрытому Селиверстовым? Ну что ж, это могло быть неплохой вашей уверткой. Однако все против вас, любезный. Этого господина мы знаем. Они с покойным Талызиным были большими приятелями, поскольку оба вместе так или иначе приложили руку к изменению государственного строя Российской империи. – Бесиков криво усмехнулся, Варламов покачал головой, и только бурая рожа Дзюганова оставалась по-прежнему спокойной, словно глиняная кринка. – Про светлейшего князя Платона Александровича Зубова слышали когда-нибудь? Нет? Ну и ладно, в самом деле, к чему вам лишнее знать? Вот его и ждал генерал к себе в гости. Однако некие неотложные дела помешали его сиятельству явиться на дружескую пирушку. Он прислал слугу с запискою и извинениями. Записку мы нашли, слугу Зубова допросили. Он еще застал генерала в добром здравии. Получив сие послание, господин Талызин выразил свое глубокое сожаление, что долгожданный визит не мог состояться, просил передать его сиятельству свое почтение, ну а потом слуга убрался восвояси, оставив генерала одного.

– А разве дядюшка не мог покушать в одиночестве? – запальчиво воскликнул Алексей, чувствуя, как полыхают его уши.

Черт, вот же черт, наделила же его судьба такими дурацкими ушами! Стоит ему соврать, как их тотчас же начинает жечь, они словно бы огнем полыхают, отчего тетенька, бывало, не раз и не два с издевкою повторяла: «На воре шапка горит, а у лгуна – уши!», в конце концов начисто отбив у Алексея уверенность, необходимую для всякого успешного вранья.

– Мог, конечно, мог, – покладисто кивнул Бесиков, с видимым интересом наблюдая за горящими ушами Алексея. – Однако покойный господин Талызин страдал заболеванием желудка, а оттого не мог употреблять грубой мясной пищи. Феоктист Селиверстов готовил ему легкие супы и овощные блюда по французским рецептам, даже когда в доме собирались гости. Вот и на сей раз фактически было приготовлено два стола: один для вегетарьянца-хозяина, другой – для гостя, любителя наперченных, острых блюд. Но вот какая интересная история получается, дорогой господин Уланов. Все овощные блюда остались нетронуты! Человек, который пировал в столовой, с удовольствием отведал котлеты, паштеты и все такое прочее, а также острые сыры, от которых у господина Талызина непременно сделались бы колики. А вот у вашего молодого желудка никаких колик от котлет-сыров не сделалось. Ведь это вы наслаждались гастрономическими талантами Феоктиста Селиверстова, вы – не так ли, племянничек?

В голове Алексея шумело от страха, оттого голос Бесикова доходил как бы сквозь вату, и смысл слов был постигаем не тотчас. Но вот Алексей все же вникнул в него – и у него даже ноги ослабели.

«Вы наслаждались, вы, племянничек!» – говорит Бесиков. «Вы» здесь – не два человека, а только лишь местоимение множественного числа. Бесиков имеет в виду только Алексея. Его одного. Какое счастье!

Ну да, конечно, *она* ведь почти и не ела ничего. Глотнула вина, пощипала винограду, отведала кусочек сыру. Наверное, полицейские даже не заметили, что вторым прибором кто-то пользовался. А что до двух испачканных бокалов, то двух бокалов как раз и не было. Они вдвоем пили из одного – то есть *она* лишь пригубливала, а уж до дна вино допивал Алексей, находя сумасшедшее наслаждение в том, что прикасается к краю бокала, на коем еще оставался след напомаженного, душистого рта. Это напоминало украдкой сорванный поцелуй, ведь он алкал коснуться ее губ своими...

– Да вы меня не слушаете, молодой человек! – вонзился в его затуманенное сознание голос Бесикова. – А напрасно. Здесь решается не что-нибудь, а ваша судьба. Обвинение в убийстве – это весьма тяжкое обвинение!

– Да прекратите ли вы, наконец? – возопил Алексей, который от сладостного воспоминания неожиданно взбодрился. – Ну допустимо ли этак обращаться с дворянином?! Все-таки наше сословие до сих пор находится под покровительством высочайшей власти, и ежели я обращаюсь с жалобой на вас к императору Павлу Петровичу... Ведь и до нашей провинции слухи дошли о некоем окне для прошений, куда всякий-каждый может обратиться со своею докукою!<sup>5</sup>

Он осекся. Что у Варламова, что у Бесикова вдруг сделались одинаково вытаращенные глаза, и даже на глинобитном лице Дзюганова отобразилось нечто вроде застенчивого недоумения. Некоторое время царило общее молчание.

– К императору Павлу Петровичу? – наконец обрел дар речи Бесиков. – Да вы что, сударь, разве не знаете, что он убит?

– Как, и он тоже? – в ужасе возопил Алексей. – Клянусь, я его не... я тут ни при чем!

– Пфе! – сделал губами Варламов, и Алексей не тотчас сообразил, что толстяк этаким образом смеется. – Пфе, пфе, пфе!

– Правда что, велика Россия: на одном конце зима, на другом – лето! – презрительно бросил Бесиков. – В этом убийстве вас никто не винит, угомонитесь! И все-таки без участия вашего семейства в государственном перевороте не обошлось. Ведь в нем был замешан ваш дядюшка... ныне покойный – с вашей помощью, сударь мой!

– Господи! – простонал Алексей отчаянно. – Разве не мог убить моего дядюшку кто-то другой? Разве не мог проникнуть в дом вор...

– И удалиться, великодушно не тронув никакого добра, – подмигнув непроницаемой роже Дзюганова, пробормотал Бесиков.

– Ну хорошо, не вор, так кто-нибудь иной, – осознал нелепость своих слов Алексей. – В конце концов, господин Талызин был человек известный, у него могли сыскаться враги, соперники на почве страсти нежной... – Алексей чуть не откусил себе язык за сию обмолвку и зачистил, надеясь, что Бесиков не заметил, как его снова бросило в краску: – Ну какие, ради господа бога, какие причины имелись у меня убивать родного дядюшку?! Все, что вы говорили о его якобы неприветливой встрече, – полные глупости, он меня никак не встретил, потому что не встретил никак, мы и не виделись вовсе. Я надеялся с его помощью устроиться в столице, получить протекцию при дворе – ну зачем, зачем мне рубить сук, на котором я сижу, и убивать человека, от коего зависела вся моя дальнейшая судьба?!

---

<sup>5</sup> В самом деле, по восшествии на престол император Павел жил в Зимнем дворце; здесь у него в первое время в нижнем этаже, под одним из коридоров дворца, было устроено большое окно, в которое всякий мог бросить свое прошение на имя императора. Павел хранил у себя ключ от этой комнатки и частенько сам забирал почту. Однако вскоре этот обычай был уже забыт, так что Алексей зря надеялся.

– Единственная здравая мысль, вами высказанная, – одобрительно улыбнулся Бесиков, и сколь ни был Алексей ошеломлен, он не мог не изумиться, увидав, до чего украсила, смягчила, преобразила искренняя улыбка сухое, ехидное лицо дознавателя. – Ваша судьба и впрямь зависела от дядюшки. Вы могли надеяться и на протекцию, и на его рекомендации к нужным людям, и на полезные знакомства, которые сделаете с его помощью, но все это в одночасье делалось сущей мелочью в сравнении с внезапно открывшейся вам новостью. Она одурманила, опьянила вас, заставила потерять голову. Вы забыли все свои прошлые намерения. Теперь вы могли думать только о ней.

*«Она одурманила, опьянила вас, заставила потерять голову. Вы забыли все свои прошлые намерения. Теперь вы могли думать только о ней...»*

Откуда узнал об этом Бесиков? Каким образом проник в самые потаенные мысли Алексея?!

Наш герой был так поражен, что ему понадобилось некоторое время понять: Бесиков говорит не о загадочной даме, а о какой-то там новости! Какая же это новость имеется в виду?

– Собственно говоря, я вас даже где-то понимаю, – понизил голос Бесиков. – У кого не закружилась бы голова, узнай он, что является вовсе не деревенским барином, у которого какие-то там триста полудохлых душ в забытых богом Васильках, а на деле – баснословное состояние, чуть ли не самое большое в России?! Ну и вот... попутал черт. Небось и более крепкий человек смутился бы, а вам-то где устоять было?

– Вы это про что? – пробормотал Алексей, отчетливо понимая теперь, что испытал однажды Прошка, когда молочный братец «наградил» его по голове валиком от старинного турецкого дивана (валик тот, если кто не знает, был в два обхвата и весил чуть не полпуда).

– Про завещание человека, который некогда пустил вашего деда по миру, мон шер, – небрежно отвечал Бесиков. – Ведь это был его родной брат, а значит, отец господина Талызина. Перед смертью он начисто рассорился с сыном за его шашни с масонами да со всякими там иоаннитами-госпитальерами и, в отместку ему, отказал все свое, за карточным столом в одночасье нажитое и в процентные бумаги помещенное, состояние старшему внучатому племяннику, который первым родится у сестер Анны и Марии. То есть вам, Алексей Сергеевич Уланов, поскольку вы первый и единственный сын своей матушки, ну а тетушка, как нам уже известно, детьми обзавестись не позаботилась. Я не оправдываю господина Талызина за его махинации с батюшкиным завещанием, однако же, сударь, наказывать за обман таким *непрекаемым* образом – это, воля ваша, как-то слишком уж жестоко! Не могли разве поладить добром?

– Вы, что ли, со мною шутите? – пролепетал Алексей, окончательно переставая что-либо понимать, однако Бесиков только усмехнулся прежней своей, кривой и неприятной усмешкой, а Варламов, давно уже помалкивавший, разомкнул наконец уста, чтобы ответить:

– Какие уж тут шутки, сударь! Все очень серьезно. Вполне возможно, найденное завещание не стало для вас неожиданностью. Не исключено, что тетушка наконец поведала вам всю правду, вот вы и решили разобраться с подловатым дядюшкой по-своему, по-молодецки. Вещички в дом не вносили, предполагая скрыться тотчас по совершении преступления. Вы надеялись, что труп обнаружит кто-то из слуг, и тогда вы появитесь, изобразив дело так, будто вот только что сейчас прибыли. Однако спиритус вина доводило до самых крайних глупостей-несообразностей и людей покрепче вас, глупой деревенщины. Некоторым образом понятно: захотелось после злодеяния промочить глотку, взбодриться маленько. Убивать, наверное, вам пришлось впервые?

Алексей несколько мгновений тупо смотрел в его широкое лицо, а потом оно как-то все полезло вдруг в разные стороны, словно Варламова тянули враз за щеки, за уши и за куцый паричок, затем подернулось серенькой дымкою, и рассыпчатый голос с насмешливым недоумением воскликнул:

– Вот те на! У нашего красавчика никак обморок?  
«Прекратите говорить глупости, господин Бесиков!» – хотел сердито воскликнуть Алексей, но не смог, потому что это и впрямь был обморок.

## Июнь 1790 года

... – Обещаешь ли ты иметь особое попечение о вдовах, сиротах, беспомощных и о всех бедных и скорбящих?

– Да, о высокочтимый.

Голос молодого человека, стоявшего посреди лужайки на коленях с зажженной свечой в руках, звучал негромко, серьезно, веско. Он был облачен во что-то вроде свободной, не подпоясанной рясы, что означало полную свободу, которой новициат<sup>6</sup> наслаждался до посвящения в рыцарское достоинство. За несколько дней до обряда посвящения он уже принял обет послушания, целомудрия и бедности, дал клятву отдать свою жизнь за Иисуса Христа, за знамение животворящего креста и за братьев своих. Теперь он не имел права не только жениться, но даже держать у себя в доме (хотя бы для работы по хозяйству!) «родственницы, рабыни или невольницы моложе 50 лет». После этого он получил рекомендации от проверенных, испытанных «братьев-иоаннитов» – ближайшего друга великого князя Павла Петровича, князя Куракина, и шефа кавалергардского корпуса князя Владимира Долгорукова – и вот дождался дня посвящения в рыцари. Ну что же, Талызин был вполне достоин этого. Не обремененный патриотизмом, поскольку воспитывался в Штутгарте, в Высшей герцога Карла школе и даже получил там патент на награды за французский язык и всеобщую историю, он вернулся в Россию, переполненный мистическими настроениями, что, впрочем, не мешало ему отлично служить. В 1784 году он был произведен в прапорщики Измайловского полка, через год – в подпоручики, а сейчас уже имел чин капитан-поручика и не сомневался, что самое большое через год получит звание капитана.

Чернобровый и черноусый, румяный и смуглый мужчина в черном полукафтани, на который был натянут ярко-красный супервест<sup>7</sup>, а поверх всего накинута черная мантия, – сам балъи<sup>8</sup> Юлий Литта, исполнитель обряда, возвышавшийся над коленопреклоненным худощавым Талызиным, словно гора, показал ему меч со словами:

– Меч сей дается тебе для защиты бедных, вдов и сирот и для поражения врагов святой церкви.

Посвящаемый получил три удара по правому плечу обнаженным мечом плашмя. Удары были довольно чувствительные, но молодой человек вытерпел их не дрогнув, только вскинул на Литту свои карие глаза и обменялся с ним коротким взглядом. Оба они знали, что приниматель пропустил в установленной формуле одно слово. Оно всегда пропускалось при посвящении в рыцари русских неофитов. Только одно слово – но из-за того, что оно было опущено, обряд выглядел более безобидным, более внешним, он словно бы утрачивал свой особый смысл. Однако можно было утешаться тем, что, хоть это слово и не было произнесено вслух, оно прозвучало в сердцах и принимателя, и Талызина. Особенно Талызина!

Менее суровым голосом, тая улыбку в глубине своих очень красивых черных очей, Литта произнес:

– Такие удары наносят бесчестье дворянину, однако это будет последним твоим бесчестьем. Талызин поднялся с колен, принял у балъи меч и трижды потряс им. Надо полагать, это движение вселяло страх и трепет в ряды противников *святой* церкви и Мальтийского ордена.

Литта вручил неофиту золотые шпоры:

– Шпоры сии служат для возбуждения горячности в конях и постоянно должны напоминать тебе о той горячности, с какой ты должен теперь исполнять даваемые тобой обещания.

---

<sup>6</sup> Неофит, новичок.

<sup>7</sup> Особого рода одежда, составляющая принадлежность кавалерского звания некоторых орденов.

<sup>8</sup> Представитель ордена.

Золотые шпоры, которые ты наденешь на свои сапоги, могут быть и в пыли, и в грязи, но означает сие, что ты должен презирать сокровища, не быть корыстным и любостыжательным.

«Умение сидеть на двух стульях может ли быть отнесено к корысти?» – подумал мельком Талызин и тотчас отогнал эту совершенно неуместную в данный момент, можно сказать, кощунственную мысль.

– Подтверждаю свое твердое намерение вступить в знаменитый орден Святого Иоанна Иерусалимского, – так же веско и серьезно, как говорил прежде, произнес он.

– Хочешь ли ты повиноваться тому, кто будет поставлен над тобой начальником от имени великого магистра? – спросил Литта.

– Обещаю лишить себя всякой свободы.

– Не сочелся ли ты браком с какой-нибудь женщиной?

– Нет, о высокочтимый!

– Не состоишь ли ты порукою по какому-нибудь долгу и сам не имеешь ли долгов?

– Нет, о высокочтимый!

Литта подал новициату раскрытый «Службник». Талызин произнес установленную формулу:

– Клянусь до конца своей жизни оказывать беспрекословное послушание начальнику, который будет дан мне от ордена или от великого магистра, жить без всякой собственности и блюсти целомудрие.

Показывая свое беспрекословное послушание, неофит по приказу Литты пронес «Службник» мимо собравшихся, показывая каждому, и вернул принимающему. Теперь настало время чтения молитв. Талызин облизнул губы, набираясь терпения, и начал читать. Сто пятьдесят раз прозвучало «Отче наш» и столько же раз «Канон богородицы» – разумеется, полатыни.

Солнце припекало. Время шло. Толпа зрителей, собравшихся посмотреть обряд посвящения, переминалась с ноги на ногу, считая минуты и в душе проклиная все на свете, а более всего – невысокого, очень некрасивого человека в красном супервесте с нашитым на груди мальтийским крестом, поверх которого были надеты блестящие латы. Голова его была покрыта тяжелым шлемом, открывающим лицо. Истово смотрел он на балы Литты и посвящаемого и, похоже, единственный испытывал настоящий восторг от затянувшейся церемонии.

Он был в ритуальной одежде мальтийского рыцаря. Носить ее имели право только те «братья», которые «при их набожности и других добродетелях» внесли в орденскую казну одновременно четыре тысячи скудо<sup>9</sup> золотом. Почти всем присутствующим была по карману эта сумма. Другое дело, что человек в латах желал быть в своем роде единственным. Ратуя за всеобщее равенство (прежде всего в одежде), великий князь Павел Петрович (а это был он) все же приказал остальным «братьям» явиться в обычных одеждах госпитальеров – черных суконных мантиях с очень узкими рукавами (это означало отсутствие свободы у посвященного). Головы были покрыты черными монашескими клобуками. На левом плече мантии был нашит крест из белой ткани: восемь концов его означали восемь блаженств, которые ждут в загробном мире душу праведника.

Строго говоря, в последнее время «братья» предпочитали модные одеяния из бархата и шелка. Стальные шлемы и черные клобуки отошли в область преданий, как и тяжелые ремни, которые некогда поддерживали неуклюжую рыцарскую броню. Однако Павел Петрович обожал внешние обрядные проявления, а оттого даже и женщины – среди членов ордена в России их было немало, прежде всего великая княгиня Мария Федоровна и признанная фаворитка Павла Екатерина Нелидова, – явились нынче в строгих черных рясах с белым мальтийским крестом

---

<sup>9</sup> Итальянская золотая или серебряная монета.

на груди и левом плече, в суконных мантиях и остроконечных черных клобуках. Покрывала тоже были черные.

Право слово, на этих людей стоило посмотреть стороннему наблюдателю! Для них для всех это была такая же придворная обязанность, как выезды верхом, присутствие на приемах или на парадах гатчинской гвардии, на балах. Причуда Павла была всего лишь его причудой, раздражавшей самых близких ему людей и самых искренних друзей. Однако... чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Давно уже было подмечено, что обряды ордена, сам вид мальтийского креста производили на Павла умиротворяющее впечатление. Безразлично, где сии обряды проводились, был ли крест вырезан из белой ткани, был ли он золотой эмалированный, носимый на шее или в петлицах, или простой медный «донат», который жаловался от имени великого князя низшим военным чинам за двадцатилетнюю «беспорочную службу», – беспокойная, суетливая, язвительная натура великого князя смягчалась. А это дорогого стоило в глазах его приближенных. Именно поэтому они с видимым удовольствием играли в его игрушки и все как один прошли в свое время ту же длинную, утомительную процедуру, которую переносил сейчас капитан-поручик Талызин. Наконец чтение молитв было закончено. Вздремнувшие взбодрились, зевавшие проглотили последний зевок и придали своим лицам выражение того же восторга, которым неустанно светилось лицо великого князя.

Литга показал на край поляны, где были разложены некие предметы:

– Воззри на сие вервие, бич, копье, гвоздь, столб и крест. Вспомни, какое значение имели предметы сии при страданиях господина нашего Иисуса Христа. Как можно чаще думай об этом.

Затем балы набросил Талызину веревку на шею:

– Это ярмо неволи, которое ты должен носить с полной покорностью.

Собравшиеся повеселели. Дело близилось к концу! Раздались рыцарские псалмы, под звуки которых вновь вступившего облачили в новенький супервест, а потом каждый рыцарь троекратно поцеловал в губы своего собрата. Особенно старались великий князь, балы Литга, Куракин. Даже дамы вели себя гораздо сдержанней. Знаток всеобщей истории, Талызин вспомнил, что поцелуи, принятые между лицами одного пола, были некогда отдельно инкриминированы ордену рыцарей Храма, тамплиерам, французским королем Филиппом Красивым. Это весьма отягчило положение тамплиеров на суде, ибо разврата ни в какой форме, тем паче в противоестественной, строгий Филипп не терпел.

Впрочем, в обрядах всех орденов есть свои странности. Талызин вспомнил: вот он преклоняет колени перед алтарем. Глаза его завязаны, рубашка распахнута, штанина на левой ноге до колена засучена, правый сапог снят. Он берет левой рукой циркуль и приставляет его к обнаженной груди: как раз там, где бьется сердце. Преподобный мастер осторожно касается циркуля молотком, и Талызин ощущает болезненный укол:

– Заключен союз на всю жизнь! Дайте свет свободному, ищущему правду каменщику!..

Ну, благодарение богу, мальтийские рыцари хотя бы не причиняют человеку боли в отличие от масонов. В ложу «вольных каменщиков» Петр Талызин вступил еще в Штутгарте. Но в России масоны не в чести, императрица их не переносит, хотя и доверила одному из них, Никите Панину, обучение и воспитание собственного сына. Результат воспитания ненависти к собственной матери и собственному Отечеству превзошел все ожидания! Однако не странно ли, что сердце великого князя повернулось не к масонам, а к безнадежно устаревающим, гибнущим ритуалам Мальтийского рыцарства? Ну что ж, около какой реки жить, ту и воду пить, а потому Петр Талызин с восторгом принял на себя звание еще и рыцаря Мальтийского ордена. Возможно, иоанниты и впрямь воспрянут на российских просторах. Талызин надеялся: если госпитальеры не закоснеют в своих неуклюжих обрядах, если сумеют влить в свои старые вены довольно молодой, свежей крови, сделаться Павлу истинными помощниками в руководстве государством (ну умрет же когда-нибудь Екатерина, станет же Павел когда-нибудь императором!), значит, придет-таки день, когда и в России (сейчас сугубо православной) можно будет

смело произносить полную, не искаженную формулу при посвящении новичка в рыцари Мальтийского ордена:

– Меч сей дается тебе для защиты бедных, вдов и сирот и для поражения врагов святой *католической* церкви.

Наконец-то началось само празднество в честь Иоанна Иерусалимского. Мальтийские кавалеры молча прошли по лужайке вокруг разложенных накануне костров, после чего бальи Литта и великий князь собственноручно подожгли костры-жертвенники. Сухой дым возносился к темнеющему небу, отблески пламени казались ярче заходящего солнца.

Павел неотрывно смотрел в огонь, и по его курносому лицу текли слезы. От едкого дыма? От искреннего умиления? Чудилось, он видел другие костры, на которых некогда рыцари сжигали в Палестине свои бинты и повязки, пропитанные кровью от ран, полученных в боях за Гроб Господень. Душа его очищалась.

Во всей особе Павла, в его походке, манере одеваться, держать себя было что-то претенциозное и театральное, напоминающее карикатуру. В сей миг это была карикатура на вдохновение.

## Апрель 1801 года

Еще по пути в Петербург приснился нашему герою сон. Увидел он себя посреди какой-то темно-серой местности. Подробности ландшафта были неразличимы, не поймешь спроста, что это: степь, лес, горы, потому что все таяло в гнусном сером мареве. Алексей вроде бы находился там, но в то же время смотрел на себя со стороны, и то, что он видел, ему чрезвычайно не нравилось. Всегда считал себя и ростом повыше, и в плечах пошире, и лицом покрасивее. Здесь же стоял перед ним какой-то обросший светлой щетиною, осунувшийся доходяга с затравленным, исподлобья, взором. На доходяге были порты, лапти, армяк и мужицкая шапка. Сделать вывод, что пред ним стоит самый затрапезный из его мужиков – бобыль Тиша, – Алексею помешало лишь то, что глаза у Тиши были карие, а у этого доходяги – голубые. Фамильные улановские глаза, у отца были такие же, и они не выцвели до глубокой старости.

Тут Алексей окончательно признал в мужике себя и пробудился весьма огорченный, ибо сон такой мог привидеться только к дурному. Произошло это уже на подъезде к Петербургу, и Алексей, помнится, тогда подумал, что уместнее было бы увидеть себя в блестящем мундире кавалергарда: ведь он ехал в столицу, чтобы совершать подвиги в гвардии и блистать при дворе!.. Но потом множество новых впечатлений заставило позабыть о сне, а теперь видение припомнилось, потому что начало сбываться с ужасающей, неправдоподобной быстротой.

Лишившись чувств в доме генерала Талызина, Алексей очнулся от дорожной тряски и долго не мог сообразить, где он и что с ним, потому что все вокруг погромыхивало и колыхалось. Крохотный огонечек светца под потолком не мог развеять сгустившегося вокруг мрака, и на какое-то мгновение Алексей возомнил, что все еще трясется в соседском возке, все еще в Петербург не прибыл, а стало быть, ужасные, кошмарные события в его жизни еще не свершились.

Вот и великолепно! Век бы им не свершаться!

Правда, он немедленно почувствовал укол сожаления, потому что с одним происшествием расставаться нипочем не желал бы, но тут какая-то тень завозилась в углу экипажа, надвинулась на Алексея, так что слабый лучик на миг ее высветил. Алексей увидел тяжелое лицо Дзюганова и понял, что жизнь – реальная, суровая! – вновь заключила его в свои крепкие объятия. И те колючие тернии, которые вдруг выросли на пути его жизни, никак сами собой не выкорчевались, стоят стеной по-прежнему.

– Очнулись? – прогудел Дзюганов. – Ну вот и ладненько. Мы уж на месте. Выходить пора. – Он распахнул дверцу кареты и вышел сам, махнув Алексею: – Извольте следовать за мною, сударь.

Тот, с трудом владея замлевыми ногами, выбрался в сырую, черную, ветреную ночь. Слышался плеск воды, бьющейся в какую-то преграду, и, когда глаза Алексея привыкли к темноте, он сообразил, что стоит на речной набережной, а вода бьется в камень.

– Где?.. – начал было Алексей. Он хотел спросить: «Где я?» – но осекся, потому что Дзюганов ткнул его в бок, приказав:

– Спускайтесь, сударь.

Да-да, приказал! Без всяких там «извольте» и «пожалуйста», словно имел дело не с дворянином и помещиком Алексеем Улановым, а с каким-то одяжкою<sup>10</sup>, не заслуживающим не то что почтения, но и самой малой человечности.

– Куда ты меня? – невольно задохнулся Алексей, узрев, что Дзюганов подталкивает его к мокрому ступеням, ведущим чуть не к самой Неве: лишь малая гранитная полоска, заваленная темным, рыхлым, еще не растаявшим снегом, отделяла берег от воды.

<sup>10</sup> Так на Нижегородчине называют всякое людское отребье.

– Испужались? – ухмыльнулся тот. – Небось решили, сейчас Дзюганов скрутит вас, на шею камень навяжет – и буль-буль-буль? Да на вас и камня не понадобилось бы, – хмыкнул он с откровенным презрением. – Вдарить по башке кулачком покрепче – и лопнет она, что ореховая скорлупа. А потом волна невяская, пособница, все смоеет... Да стойте крепче, сударь, не шатайтесь, ничего я вам не сделаю. Приказ есть приказ, а велено мне всего лишь доставить вас в крепость. Там вам камеру определят – потеснее да посулее. Ничего, еще маленько поживете. Хотя, будь моя воля... – Он вдруг приблизил лицо, показавшееся в полутьме огромным, к лицу Алексея и прошипел, обдавая узника горклым табачным духом: – Будь моя воля, ты б до крепости не доехал. Я б с тобой без всякого суда разобрался, был бы тебе и судией, и палачом за то, что ты такого человека, как господин генерал Талызин, смерти предал. Ну ничего, придет срок, с тобой еще разочтутся, как за генерала, так и за императора.

– Не убивал я никакого императора. И генерала не убивал! – воскликнул Алексей, которому уже давно казалось, что земля и небо ни с того ни с сего поменялись местами. Во всяком случае, его бедный разум давно уже воспринимал происходящее именно так.

– Никшни! – пренебрежительно махнул на него Дзюганов. – Опять завел свою шарманку! Юродствуешь, недоумка из себя строишь? Ладно! Скоро с тобой по всем статьям разберутся!

Вслед за тем Дзюганов махнул рукой куда-то в сторону и зычно свистнул. Послышался плеск весла, и совсем скоро из тьмы показалась и закачалась у ступенек набережной малая лодчонка, в которой горбился солдат, неловко расставивший ноги, скованные чрезмерно высокими сапогами. Было такое впечатление, что шинелька ему длинна, потому что он то и дело перехватывал весла одной рукой и подбирал полы, которые падали с колен. Его лосины были сплошь испятнаны, потому что на дне лодчонки хлюпала вода.

– Ты что же, дурья башка, воду не вычерпал? – с отвращением спросил Дзюганов. – Или твоя лоханка протекает? Не затопнет посреди реки?

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие! – воскликнул гребец тонким голосом. – Не затопнет. А в случае чего мы лишний груз в воду булькнем – и вся недолга.

Неизвестно, что доставило Дзюганову большее удовольствие: что его назвали «благородием» либо готовность солдатика избавиться от лишнего груза посреди темной, студеной Невы. Алексей же ни малейшего удовольствия не испытал: во-первых, потому, что никакого благородства в Дзюганове не находил, напротив, был тот сущее быдло; ну а во-вторых, оттого, что под лишним грузом подразумевался он сам, собственной персоною...

Кое-как забрались в пляшущую, шаткую посудину. Алексею приказали сидеть на носу, так что между ним и устроившимся на корме Дзюгановым находился гребец. К Алексею был обращен его затылок, обрамленный, по армейской моде того времени, туго завитыми пуклями. У нашего героя внезапно мелькнула мысль, что, окажись у него в руках какой-нибудь тяжелый предмет, он вполне мог бы навернуть гребца по голове, а когда тот сникнет в бесчувствии, выхватить из ножен его палаш, который топорщился сбоку и изрядно мешал грести. Таким образом он оказался бы вооружен против Дзюганова, и если в медвежьей драке в обхват тот мог бы заломать кого угодно, то в благородной схватке Алексей справился бы с ним в два счета. Ежели только у Дзюганова не спрятан под полою пистолет, который мигом сведет на нет все преимущества внезапного нападения...

Все это глупости, подумал Алексей. Ну, расправится он с солдатиком, прикончит Дзюганова и даже, может быть, скроет их под темной невяскою волною. А дальше что? В бега ударяться? Жить таясь, навеки лишась права являться пред людьми? И вдобавок ко всему сделаться закоренелым грешником, на совести коего будут аж два смертных греха, два убийства – и не воображаемых Бесиковым, как убийство дядюшки-генерала, а самых настоящих: кровавых, обдуманных и хладнокровно свершенных.

О нет. Только не это! В Алексее еще жила вера в справедливый суд. Он надеялся встретить облеченного властью человека, который взглянет на него без той предвзятости, с какой

смотрели Бесиков и Варламов, которым главное было свалить с плеч долой докучное расследование убийства, вот они и вцепились в первого попавшегося подозреваемого, даже не пытаясь искать кого-то другого.

Конечно, против Алексея много чего сошлось, особенно это дедушкино завещание дурацкое... прямо как нарочно! Однако же не пойман – не вор. За руку не схвачен – не убийца. Никто не видел, как он убивал дядюшку (прежде всего потому, что он никого не убивал!), а значит, перед лицом закона он не более виновен, чем тот же Бесиков. Нет, менее! Бесиков даже не пытался искать истинного виновника, а изо всех сил старался уверить Алексея, что убийца – именно он. Бесикову, Варламову и Дзюганову было совершенно неважно, кто на самом деле прикончил генерала Талызина. Им главное было – найти любого виновного. Этакого козла отпущения, которым они и сделали Алексея. А задержись он в пути на какой-нибудь час... или, напротив, появись раньше и застань генерала в живых... Все было бы тогда совершенно по-другому, он бы встретился с дядюшкой, но...

Вот именно – все было бы по-другому. Тогда Алексей не встретил бы *ее*!

И вдруг его словно ударило догадкой. *Она* сказала, что явилась к дядюшке для обсуждения важного дела, что дядюшка обещал ей протекцию у благоволившего к нему генерал-губернатора Палена для решения какой-то затянувшейся тяжбы. И Алексей поверил – потому что хотел поверить. Он с первой минуты гнал от себя мысли о том, что стол был накрыт не для какого-то там друга дядюшкина, а именно для нее, что должно было состояться не деловое свидание, а любовное!

Он так и не повидал генерала Талызина воочию, принужден был довольствоваться акварельным портретом, увиденным в кабинете. Ну что ж, таким человеком вполне могла увлечься даже самая привередливая красавица...

Алексей задохнулся от приступа ревности, и не скоро ему удалось вернуть мыслям подобие плавности.

Предположим, он прав в своих догадках. Намечалось свидание. Но об этом проведал супруг прекрасной дамы: она определенно женщина замужняя, не девица, уж в этом-то Алексей был удостоверен самым доказательным образом! Супруг явился к Талыzinу, опередив жену, и бросил в лицо генералу какие-то обвинения. Предположим, тот все отрицал, вообще вел себя дерзко и в конце концов так разъярил своего противника, что тот набросился на него и задушил. В таком случае он должен быть человеком недюжинной силы! Ну а потом, чтобы запутать дознавателей, убийца перетащил тело своей жертвы в спальню и там завалил подушками, придав событиям совершенно иной оборот.

Но, в таком случае *она*... то, что *она* сделала потом, как поступила... Разве порядочные дамы из общества так поступают?!

А впрочем, что Алешка Уланов, деревенщина, знает о дамах? Ровно ничего. Какое же право он имеет *ее* осуждать? Ведь она не знала, что ревнивый супруг убил ее любовника. И, может быть, – конечно, со стороны Алексея страшно самонадеянно так думать, но как же иначе объяснить все происшедшее?! – может быть, *она* ощутила к Алексею такое же странное, ошеломляющее влечение, какое он ощутил к ней, не смогла противиться чувствам, оттого и... оттого и случилось все так, как случилось. А потом *она*, напуганная собственной смелостью и настойчивостью Алексея, бежала прочь, оставив его погруженным не то в блаженный сон, не то в беспамятство: ведь с ним-то *это* произошло впервые!

Конечно, если бы Алексей рассказал Бесикову, что был в доме не один, тот непременно начал бы раскапывать все связи дядюшки и добрался бы до *нее*. Но Алексей скорее откусил бы себе язык, чем запятнал бы ее доброе имя... которого он, кстати сказать, и знать-то не знал. Нет, ему никак не возможно оправдаться, совершенно никак. А значит, остается уповать лишь на разумность судей – и на бога. Ну а если все пойдет совсем плохо...

С непостижимой ясностью нарисовалась в его воображении картина раннего апрельского утра. На просторной площади, заполненной народом, увидел Алексей высокий помост, именуемый среди людей образованных эшафотом. К эшафоту приближалась позорная колесница, на которой стоял бледный человек в черном суконном кафтане и черной шапке. На груди у него висела черная доска, исписанная белыми буквами. Эти буквы сообщали, что собравшиеся имеют несчастье зреть пред собою дворянского сына Алексея Сергеева Уланова, приговоренного к наказанию кнутом, вырыванию ноздрей и ссылке в каторгу за убийство своего родственника, генерала Талызина. Колесницу сопровождала рота солдат с барабанщиком, который выбивал глухую дробь, вызывавшую у зрителей невольную дрожь.

И вот Алексей увидал себя уже на эшафоте. Чернявый священник, чем-то схожий с Бесиковым, бегло напутствовал его и сунул к губам крест. Палач в красной рубахе обратил к осужденному свое лютое лицо, и Алексей заплелся нога за ногу, узнав в заплечных дел мастере Дзюганова... Он швырнул Алексея на кобылу, прикрутил к ней руки и ноги сыромятными ремнями, разорвал на преступнике рубаху сзади и спереди, оголив спину ниже пояса. Взметнул плеть и с криком: «Берегись, ожгу!» – обрушил ее на спину Алексея.

Тот содрогнулся от боли, невольно склонив голову, словно она уже была обезображена клеймом, пряча от людей лицо, на котором ноздри были вырваны нарочно сделанными клещами...

Господи! Да неужто придется испытать все это?!

Алексей вскинулся, судорожно тиская руки и суматошно озираясь. Лодка качнулась; солдатик, сидевший к нему спиной, сердито воскликнул:

– Эй, барин, чего шебаршишься? Бережней!

Он осторожно поднял оба весла и положил их на борта, словно утомился грести.

– Ты это зачем? – недоумевающе начал Дзюганов, однако не договорил, потому что солдатик пошарил под банкою, вытащил оттуда какой-то темный предмет и направил его прямо в грудь ражему охраннику.

«Пистолет? Откуда у него?..» – не успел поверить догадке Алексей. Громыкнуло, сверкнуло – на мгновение ярко высветилось ошеломленное, с распяленным ртом лицо Дзюганова, – а потом оно стало заваливаться куда-то назад, назад, пока вовсе не кануло вниз. Мелькнули высоко задранные ноги в сапогах, всплеснулась Нева – и жуткий Дзюганов навсегда исчез из лодки, а также из жизни Алексея и из нашего романа.

– Го-спо-ди! – выдохнул Алексей, когда смог наконец издать хоть какие-то членораздельные звуки, а произошло это, надо сказать, не слишком скоро. За это время застреливший Дзюганова солдатик успел поглядеть за борт, словно удостоверившись, что убитый более не намерен всплыть и забраться в лодку; удовлетворенно кивнул, сунул за пояс сделавший свое дело пистолет и, повернувшись по правому борту, принялся напряженно вглядываться в темноту. Услышав не то вздох, не то стон ошарашенного Алексея, он досадливо махнул на того рукой – не мешай, мол! – и даже руку ко лбу козырьком приставил, словно силился что-то разглядеть не во тьме, а при ярком свете. Однако раньше, чем удалось хоть что-то увидеть, из сырой ночи долетел звук усиленно гребущих весел, а потом встревоженный оклик – и хоть Алексея, казалось бы, трудно было удивить сильнее, чем он был удивлен, он все же изумился, ибо ночь говорила по-французски:

– Жан-Луи! Ты меня слышишь?

– Вперед! Сюда! – так же по-французски закричал солдатик, доселе изъяснявшийся самым что ни на есть акающим московским говорком.

Весла зашлепали ближе, и через миг из тьмы выявились очертания другой лодки, с одним только гребцом, который встревоженно вглядывался в солдатика и твердил:

– Господи, о Жан-Луи, какое счастье, что все кончено! Я до смерти боялся, что этот русский зверь сумеет тебя опередить!

– Ты меня всегда недооценивал, Огюст, – проворчал солдатик и обратился к Алексею: – Сударь, вы свободны. Не волнуйтесь – ваша камера в крепости останется пустовать. Но сейчас нам надобно очутиться как можно дальше отсюда, потому прошу вас перебраться в другую лодку.

– Что вы наделали?! – смог наконец воскликнуть Алексей, до которого только сейчас дошло, что на его шее теперь так-таки и висит не только воображаемое, но и вполне реальное убийство. – Кто вас просил?.. Как вы смели?.. Куда вы намерены меня везти?

– Туда, где находится особа, рискнувшая жизнью и честью ради вашего спасения, – ответил Огюст, и возмущенный вопль: «Чего она лезла не в свое дело?» – застрял в глотке Алексея. «Особа, рискнувшая жизнью и честью ради вашего спасения...»

Во всем Петербурге у Алексея была лишь одна знакомая «особа», готовая ради него на все. Ведь она уже рискнула однажды – там, в доме дядюшки, – так отчего бы ей не рискнуть снова, на ночной Неве?! Он был изумлен, оскорблен, обижен, он страдал, когда, проснувшись, не отыскал ее рядом, а увидел только лишь злоехидного Бесикова со товарищи. Думал, она мгновенно забыла о нем, лишь разомкнула объятия, однако это не так! Это не так!

Остается дивиться, как она узнала об опасности, которая грозила ее нечаянному возлюбленному, как смогла так быстро предпринять усилия для его спасения. Алексей и дивился от всего сердца. На всем белом свете не сыскалось бы менее подходящего места для глупых, блаженных улыбок, чем лодка, качающаяся посреди ночной Невы, однако именно такая улыбка расплылась в этот миг по лицу нашего героя. Не поперечив более ни словом, он, поддерживаемый Огюстом, перелез в его лодку. За ним последовал Жан-Поль, а потом оба Алексеевых спасителя совместными усилиями перевернули ту лодку, из которой недавно отправился в свое последнее плавание бедолага Дзюганов.

– Всякое в жизни бывает, – философски изрек Огюст, глядя вслед посудине, которую волны послушно понесли по течению. – Отправятся люди на лодке покататься, глядишь – и... А ведь амуниция тяжелая, вода наливается в сапоги. А они каменеют, тянут ко дну. Кто услышит крик о помощи посреди ночной Невы?! – Он сочувственно улыбнулся, глядя на довольно-таки ошалелое лицо спасенного: – Вижу, сударь, вы теряетесь в догадках? Ну да ничего, скоро все разъяснится. А пока... пока позвольте Жан-Полю завязать вам глаза. Извините, но нам был отдан категорический приказ. В таком деле, как освобождение государственных преступников, прежде всего – сохранение полной тайны!

– Как это – глаза завязать? – насторожился наш герой. – Зачем? Я не дамся! И отчего вы меня преступником называете? Я никакого преступления не совершал!

– Не только вы так полагаете, – согласился Огюст. – Мы тоже смотрим на это дело широко. Однако у официальных властей на сей счет свое мнение.

– Самое удачное место спорить о юриспруденции! – пробормотал Жан-Поль, брезгливо пожимаясь в своих насквозь уже промокших лосинах. – Не отложить ли его до прибытия хотя бы на берег? Воля ваша, господа, но позиция у вас обоих... как бы это поточнее выразиться... изрядно шаткая!

Он был прав в самом прямом смысле слова, ибо на Неве потихоньку поднималось волнение и с каждым мгновением лодочку покачивало все ощутимей.

– Давайте, сударь, – сказал Жан-Поль, помахивая черным шарфом, – подставляйте голову. И не станем более тратить времени на словопрения. Поверьте, время не ждет, как любите говорить вы, русские.

Алексей смотрел затравленно. Он и сам не знал, отчего ему было так страшно дать завязать себе глаза. Неизвестность, тьма, невозможность видеть, что с ним станут делать, как будет далее разворачиваться его судьба, – вот что пугало пуще всего. Честное слово, прикажи ему

сейчас Огюст раздеться до исподнего, броситься в студеную воду и плыть саженками к берегу – он сопротивлялся бы с меньшим пылом. А дать завязать себе глаза и покорно ждать развития событий... Все возмущалось в душе нашего героя. Слишком отчетливо осознавал он, что внезапно сделался игрушкой неких сил, которые взяли его судьбу в свои руки и забавляются ею в свое удовольствие, даже не собираясь спрашивать его, Алексея, разрешения.

Вспомнил, как нянюшка для забавы маленького барина, бывало, шивала из тряпок человечка с разрисованной головой. В голове изнутри была оставлена дырка; нянька вставляла туда указательный палец, а большой и средний помещались изнутри в тряпичное тело человечка. С помощью этих трех пальцев он мог складывать ручонки, хлопать в ладоши, мотать головой и кивать и, говоря нарочно писклявым нянюшкиным голосом, даже был способен хватать маленького Алешку за руку. Вот это почему-то доводило его до дрожи! Он пытался скрыть свой необъяснимый страх от няньки, стыдясь его, и, кажется, это порою удавалось. Но боже ж ты мой, как поджимался от ужаса живот, как подгибались коленки, как сохло в горле, лишь только нарисованные глаза куклы обращали на него свой косящий взгляд (рисовальщица из няньки была никакая), а мяконькие ручонки хватались за него и влекли, влекли куда-то. Это было необъяснимо, отвратительно, ужасно, это доводило Алексея до судорог!

Вот и сейчас – судьба, не заботясь о производимом впечатлении, забавлялась с ним, влекла невесть куда, заглядывала в лицо неживыми, равнодушными глазами...

– Не дамся! – твердо сказал Алексей, поворачиваясь к Огюсту и пытаясь в темноте поймать его взгляд. – Не дам глаза завязывать! Почем я знаю, что вы намерены со мной потом сделать?

– Ну да, к примеру, дать вам веслом по голове и отправить за компанию с тем русским громилою рыб кормить, – устало хихикнул Огюст. – Ну что вы говорите глупости, сударь?! Собирайся мы поступить так, разве не могли сделать это раньше? Уверяю вас, намерения относительно вашей судьбы у нас и у...

– Ох, да будет вам вдаваться в словопрения! – простонал за спиной у Алексея Жан-Поль. – Экий вы, сударь, неуступчивый! Неужто неведомо вам старинное изречение латинское: «Дуцум волентем фата, нолентем трахунт»?<sup>11</sup> В таком разе – не взъщтите!

После сих невразумительных словес позади Алексея послышалась некая возня, но не успел он обернуться поглядеть, что там происходит, как получил вроде бы не сильный, но весьма ощутимый удар по затылку, и мягким, безвольным мешком повалился в заботливо подставленные руки Огюста.

«...Трахунт, трахунт, трахунт!» – прокричал в его голове кто-то незримый: прокричал не мягким французским голосом Жан-Поля или Огюста, а почему-то ехидным баском приснопамятного господина Бесикова, – и вслед за тем все померкло в голове Алексея. Он погрузился в беспмятство, в очередной раз за эти сутки покорившись неумолимой, неотвязной, пристающей, как банный лист, судьбе.

---

<sup>11</sup> Имеется в виду пословица «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt» – «Покорного судьбы влекут, строптивного – волокут» (лат.).

## Ноябрь 1796 года

– Ваше высочество, князь Зубов просит принять!

Рука Павла нервно дернулась, и утренний кофе выплеснулся из чашки.

Жена обратила на гусара<sup>12</sup> свои томные, с поволокой глаза:

– Что? Платон Александрович?!

При имени фаворита матери Павел снова передернулся.

– Князь Николай, ваше высочество, – уточнил лакей, безмятежно промокая салфеткою пролитый кофе.

Павел нервно сглотнул.

– Мы погибли... – Его шепот более напоминал тихий стон, вырвавшийся из самой глубины души.

Марья Федоровна значительно повела взглядом на гусара. Она гораздо лучше своего порывистого мужа умела держать себя при челяди, сохраняя всегда, при любых обстоятельствах высокомерное, равнодушное спокойствие.

У нее много чему следовало поучиться, однако сейчас Павлу было не до тонких уроков светской выдержки. Визит ближайшего к трону человека, Николая Зубова, мог означать только одно: все тайные и явные слухи, ходившие вокруг намерений императрицы отлучить от престола нелюбимого сына, чтобы возвести на трон любимого внука Александра, оказались правдою. Намерения сии, противные законам божеским и человеческим, начинают осуществляться. Ведь говорили почти в открытую, что Екатерина собиралась опубликовать манифест, объявляющий об отстранении Павла. На это было получено согласие графа Румянцева, великого Суворова, «постельного князя» Платона Зубова, санкт-петербургского митрополита Гавриила и самого всесильного Безбородко.

Что предпишет гатчинскому обитателю курьер из Зимнего? Под фальшивым предлогом заманит в столицу, чтобы с заставы отвезти в крепость, в камеру, на вечное забвение? Или все произойдет куда проще, как некогда в Ропше, с помощью сломанной вилки?<sup>13</sup> Неужели прямо вот здесь, вот сейчас?..

Вдруг вспомнился сон, виденный нынешней ночью. Чудилось, некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу. Он часто от этого просыпался, опять засыпал и вновь бывал разбужен повторением того же самого сновидения.

После смерти человека возносится вверх душа его. Неужели Зубов явился, чтобы?..

Павел поймал нетерпеливый взгляд жены. Известно, бабами, что в курной избе, что во дворце, движет в жизни одно любопытство. Пуше страха смерти разбирает: зачем все же объявился братец всесильного фаворита в Гатчине?

– Сколько их? – прокашлявшись, выдавил Павел – и даже пошатнулся, услышав:

– Они одни, ваше высочество.

Промокнул салфеткою взмокший лоб, перекрестился:

– Просите, коли так.

Пытаясь принять величавый вид, невольно скользнул взглядом по столу. Что же, что Зубов один, рано еще радоваться. Даже эта маленькая вилочка для фруктов в руках мрачного гиганта князя Николая может сделаться смертельным оружием. А ножи?.. Не приказать ли покуда убрать со стола?

---

<sup>12</sup> Так называлась прислуга, носившая особые ливреи военного покроя.

<sup>13</sup> В 1762 году в Ропше А. Орловым и Ф. Барятинским был убит отец императора Павла, Петр III Федорович, что открыло Екатерине путь к престолу.

Но было уже поздно. Двери отворились, высокая фигура на миг замерла на пороге – и вдруг с протяжным, хриплым стоном рухнула на колени:

– Государь... простите...

У Павла пресекался голос, и он какое-то время немо шевелил губами, все еще думая, что ослышался, что Зубов сказал что-то о государыне, а не воззвал к государю. Рядом шумно, возбужденно дышала Марья Федоровна.

– Ну, что там еще? – наконец выдавил Павел.

– Удар был... – громко всхлипнул Зубов. – Кончается матушка-императрица!

И заплакал навзрыд, словно ребенок.

Павел сильно ударил себя по лбу – так, что великая княгиня услышала глухой, деревянный звук и испуганно покосилась на мужа. Вообще-то она уже привыкла, что в минуты крайнего волнения муж сильно бьет себя по лбу, однако чего уж так усердствовать-то? Ей-богу, права *petit monstre*<sup>14</sup> Нелидова (фаворитку Павла императрица Екатерина называла «маленькое чудовище» за ее малый рост, смуглое лицо и некрасивость): «дорогой Павлушка» когда-нибудь начисто вышибет себе таким образом мозги. А ведь теперь голова ему понадобится как никогда раньше... Только в этот миг осознание судьбоносной новости пронзило великую княгиню, и она, всплеснув руками, воскликнула в один голос с мужем:

– Какое несчастье!

И каждый подумал про себя, что приставка «не» здесь совершенно неуместна...

Поминутно стуча себе в лоб, Павел начал расспрашивать Зубова, словно не замечая от волнения, что тот по-прежнему остается коленопреклоненным, и не предлагая ему встать.

– Какое несчастье! – С этим воплем Павел кинулся в объятия вошедшего Ивана Петровича Кутайсова, ближайшего своего друга и доверенного человека.

Смуглявый турчонок родом из Кутаиси (отсюда и фамилия), взятый некогда в плен при осаде Бендер и вознесшийся до звания камердинера и цирюльника его императорского высочества, через плечо своего покровителя блестящими глазками таращился на согбенного князя Зубова, раскидывая своим пронырливым умишком, что бы все это означало. И он жадно облизнул свои пухлые, красные, словно бы вывернутые губы, услышав, что у императрицы был удар, что она при смерти, а ее лейб-медик Роджерсон не надеется на выздоровление и просит великого князя и наследника прибыть как можно скорее, дабы застать государыню в живых.

Кутайсов чуть было сам не побежал на конюшню, чтобы самолично запрягать, однако Павел не торопился. Страшная нерешительность, которая всегда овладевала им на пороге самых важных событий его жизни, чудилось, спутала ему ноги, потому что даже по комнате он метался какими-то странными, маленькими шажками, плакал, размазывая слезы по своему некрасивому, плоскому лицу, целовал то жену, то Кутайсова, то Зубова (дошло и до этого!), причитал: «Застану ли я ее в живых?!», однако, когда карета была подана, не торопился садиться, а приказал подать еще кофе. Марья Федоровна и Кутайсов, друг дружку не терпевшие, сейчас переглядывались за спиной Павла, словно тайные любовники за спиной ревнивого мужа, досадуя на нерешительность великого князя.

Уже, мучительно разминая замлевшие коленки, отправился в Петербург, готовить курьерские подставы по пути, Николай Зубов. Уже валом повалились в Гатчину новые курьеры – от Ростопчина, Салтыкова, бог весть кого еще, вплоть до того, что даже повар Зимнего дворца и поставщик ко двору рыбы тоже послали курьеров о том, что матушка Екатерина кончается и время будущему государю прибыть к ее одру. Уже новость разнеслась по всей столице, и толпы народу молились во здравие любимой государыни что в соборах, что прямо на улицах. Однако Павел набрался храбрости выехать лишь к пяти вечера, после раннего обеда и очередного кофепития. В пути он вовсе не спешил и в Петербург прибыл около восьми. Знав-

---

<sup>14</sup> Чудовище.

ший его как облупленного, Кутайсов мог бы прозакладывать все свои будущие блага (а что они посыплется на верного наперсника будто из рога изобилия, черномазый проныра ничуть не сомневался): «дорогой Павлушка» изо всех сил старается, чтобы не застать «любимую маменьку» живой.

Конечно, можно было опасаться, что она вдруг придет в сознание, заговорит, высказав свою давно чаемую волю по замене наследника, и тогда молодой Александр, ставший уже при дворе и в народе популярным, начнет действовать, однако курьер от Николая Салтыкова, преданного гатчинскому жителю, сообщил, что меры приняты: Александр изолирован и не сможет приблизиться к смертному одру любящей бабушки. Впрочем, молодой великий князь и не совался в апартаменты умирающей императрицы, движимый не столько чувством чести и сыновней привязанности, сколько своей обычной нерешительностью. Право слово, вся сила характера в этой странной семье была сконцентрирована в женской ее части, вернее, в одной женщине, породившей этих нерешительных, межеумочных мужчин!

## Апрель 1801 года

Что-то влажное коснулось краешка губ Алексея, и он невольно вздрогнул, мгновенно вырванный из продолжительного беспомыслия. Ощущение было сильное: чудилось, в уголок рта вошла маленькая горячая молния, отозвавшись в самом сокровенном уголке его тела. Вернее, в уголках, потому что затрепетало отнюдь не только сердце. Вся суть мужская Алексеева, доселе мирно дремлющая меж его безвольно раскинутых ног, вдруг начала оживать и наливать силой.

Еще не вполне очнувшись, не владея ни чувствами своими, ни телом, он застонал чуть громче, наслаждаясь этой не то сладкой, не то болезненной, томительной дрожью, и приоткрыл губы, по которым в следующее мгновение словно бы огоньком провели: чей-то горячий, проворный язычок пробежал по ним, разведывая себе путь в недра Алексеева рта, и скользнул туда, легонько прижимаясь к его языку.

Сладкий, густой, чуточку приторный запах достиг его ноздрей, окутал, пленил, заставил их затрепетать и нервно расшириться. Мысли, начавшие было беспорядочно бродить в его ушибленной голове, враз вылетели вон, словно разбросанные по полу бумажные клочки, унесенные порывом сквозняка. Думать о чем-либо связанном не только не представлялось теперь возможным, но и необходимости в том не было. Еще и в прошлый раз, проделывая все это впервые, Алексей положился лишь на пробужденную чувственность свою – и вроде бы ни разу не ошибся на сем сладострастном пути. А сейчас он уже обладал некоторым опытом и принялся прилежно повторять то, чему был недавно научен.

И все-таки выяснилось, что он еще незрелый новичок на сей игривой стезе, потому что дама не запрокинулась на подушки, увлекая за собою Алексея, как она поступила в тот первый, незабываемый раз. Не прерывая поцелуя, она проворно справилась со всеми крючками и застежками, на коих держались его штаны, высвободила то, что готово было уже прорвать плотную ткань, а потом, шурша душистыми юбками, вскочила верхом на колени Алексея. Он громко ахнул, словно бы всем телом окунувшись в жаркую тесноту ее недр, резко рванулся вверх, потом вниз, а потом охи-ахи-вздохи уже следовали друг за дружкой непрерывно, на два голоса, словно мужчина и женщина, наперегонки скачущие к наслаждению, соревновались также и в пылкости выражения чувств.

В этой скачке оказалось два победителя – и двое побежденных. Вскоре Алексей притих в объятиях сладко пахнущей, шелковистой дамы, ощущая на плече блаженную тяжесть ее поникшей головы. Оба неровно дышали, все еще вздрагивая и изредка приникая друг к другу, словно продолжая высасывать остатки наслаждения, но, впрочем, каждый понимал, что все кончилось и на смену полубеспомытному, молчаливому, задыхающемуся смятению должны теперь прийти слова, улыбки, взгляды... обыденность отношений двух удовлетворенных любовников.

– Оho-ho, mon Dieu! – коснулся уха Алексея щекочущий, смеющийся шепоток. – Оho-ho, mon cher! Vous êtes un étordi, mon ami!<sup>15</sup>

Наш герой вздрогнул, снова стиснул руками узенькую талию, уже почти не сомневаясь в подозрении, кое едва зародилось в нем, едва лишь душный розовый запах коснулся его ноздрей. Однако в ту минуту сознание Алексея еще не освободилось от пут беспомыслия, а плоть была слишком возбуждена, чтобы он мог о чем-то связанно размышлять. Теперь же, услышав этот голос, он понял, что многое, слишком многое могло бы подтвердить первые подозрения. Свободная от корсета талия, которую он стискивал, была тоненькой – двумя пальцами обхватишь, и хрупкой, будто у девочки. Маленькие груди терялись в жадных ладонях Алексея. Коленам было легко, словно оседлавшая его дама была почти невесома. Губы ее имели при-

<sup>15</sup> Охо-хо, мой бог! Охо-хо, мой милый! Да вы ветреник, мой друг! (франц.). – Ред.

торный помадный привкус. А этот тяжеловатый розовый запах вместо прохладного, горьковатого, который, чудилось, проник не только в легкие, но и в сердце Алексея, навеки отравив его? Все, все в этой незримой (открыв глаза, он убедился, что кругом царит кромешная тьма) любовнице было другим. Не таким!

Господи боже... это что же получается? Он что, предался страсти не просто с невидимой, но и с незнакомой дамой?! Он вступил в случайную связь? Он изменил (а ведь еще и суток не прошло!) той, которая стала первой его женщиной, открыв ему бездну такого сокрушительного наслаждения, которое повергло его в сон или беспамятство, сделав его неспособным холодно анализировать свои чувства, как он это проделывает сейчас, довольно быстро отделившись от мимолетного – и не столь уж острого, если честно признаться! – удовольствия и уподобившись в своей внезапно наступившей трезвости приказчику, который довольно хладнокровно подсчитывает все прибыли и убытки минувшего дня.

Воистину: «*Vous êtes un étordi, mon ami!*» И это еще мягко говоря. Кто же он после случившегося? Неблагодарный изменник! Распутный развратник... или, вернее будет сказать, развратный распутник?

И Алексей, ужасаясь глубине своего падения (к чести нашего героя, ему и в голову не пришло обвинить в случившемся кого-то другого, кроме себя, хотя, если быть совершенно искренним, в пропасть измены он не сам упал, а был туда внезапно и очень умело свергнут!), вдруг ощутил, как сверкающее, чудесное переживание первой страсти с невероятной скоростью отдаляется от него, улетает в невозвратимое, туманное прошлое. Он словно бы даже ощутил довольно сильную тряску, как если бы жизнь его действительно вдруг понеслась по не больно-то наезженной колее.

Что такое? Да это Алексею не мерещится! Он и впрямь куда-то едет! Так вот что означали те толчки и раскачивания, которые то помогали, то мешали ему несколько минут назад нести незнакомую всадницу к сладостной цели! Он находится в темной, закрытой карете с завешенными окнами. К счастью, уже не в тюремной, коя доставила его на берег Невы. Но все-таки, без сомнения, Алексея куда-то везут...

Господи, да куда же на сей-то раз! И кто его везет?!

– Где я? – выкрикнул он, пытаясь сохранить достоинство и не впасть в панику, однако не находя для этого сил. – Кто вы?

– Ах, мой дорогой! – снова послышался этот интимный, ласковый французский шепоток. – Не рано ли задавать такие категоричные вопросы? По-моему, мы еще недостаточно хорошо знакомы, чтобы дама без опаски могла открыть вам свое инкогнито.

Недостаточно хорошо знакомы? И это после того, как между ними произошло самое важное, самое главное, самое тайное, что только может случиться между мужчиной и женщиной? То, что связывает их навеки неразрывными узами!

«Секундочку! – озабоченно проговорил некто трезвомыслящий в переполошенной Алексеевой голове. – Связывает навеки? Неразрывными узами? Но ведь вы, милостивый государь, уже связали себя неразрывно с той загадочной, незнакомой дамою... как было точно подмечено, еще и суток не прошло. А теперь столь же навеки соединились с другой, опять-таки незнакомой и загадочной. Не означает ли это, что путы любодейные все же не столь неразрывны, как вам сие кажется?»

Отдавшись своим нелегким размышлениям, Алексей на некоторое время притих и вздрогнул, услышав над ухом недовольный голосок:

– Да вы никак уснули, *mon cher*? Очень мило с вашей стороны!

Алексей вздрогнул. Надо же было так задуматься! Да ведь он успел позабыть о незнакомке, все еще сидящей у него на коленях, и не просто сидящей, но даже поерзывающей нетерпеливо. Может быть, ей мешало то, на чем она продолжала сидеть? Алексей сконфузился и попытался было, как бы это поизящнее выразиться, обратиться восвояси, однако колени дамы

покрепче стиснули его бедра, словно он был заленившимся жеребчиком, коего всадница нетерпеливо понукала продолжать скачку. Чтобы исключить всякие недомолвки, маленькие, будто вишенки, тугие губки снова прильнули к его рту, проворные пальчики нетерпеливо скользили его обнаженный живот, спускаясь все ниже и ниже... и Алексей сызнова убедился в глубине своего морального и физического падения, потому что вдруг ощутил горячее желание опять сделаться распутным развратником (или развратным распутником, это уж кому как больше нравится). Как говорится, надо примиряться с нехорошим, чтобы избежать худшего!

– Да, похоже, я не напрасно рисковала ради вас жизнью брата и своим благополучием, – с одышкой прошептала спустя некоторое время дама, наконец-то слезая с усталых колен Алексея и, судя по шелесту и шуршанию, приводя в порядок свой туалет. – Вы – достойная награда для самой изощренной женщины. Быть может, вам немножко не хватает *мастерства*, однако при хорошей *школе* это легко можно наработать. Очень рада, что не ошиблась в вас, мой романтический злодей!

Алексей, в это время пытавшийся унять переполющенное дыхание и несколько прикрыть наготу (он все-таки стеснялся, несмотря на кромешную тьму, царившую вокруг), замер, пораженный ее словами.

Бог ты мой, да что же он за человек, что за создание такое легкомысленное?! Предался плотской утехе (утехам, точнее сказать), даже не вспомнив, что этим житейским удовольствиям предшествовало, из какой опасности он был вызволен неведомыми Жан-Полем и Огюстом! Совершенно запамятовал, что оказался насильно, против воли, можно сказать, спасен от суда, тюрьмы, экзекуции, ссылки, может быть, и смерти. Огюст там, в лодке, упоминал какую-то особу, рискнувшую жизнью и честью ради спасения Алексея. Дама-невидимка говорит, что рисковала ради него жизнью брата и своим благополучием. Не стоит труда сложить два и два и догадаться: неведомая особа, упомянутая Огюстом, – и есть новая любовница Алексея (Господи! Да он меняет их правда что как перчатки! Не зря говорится: хорошее начало полдела откачал!), а один из невских пиратов – ее брат. Огюст или Жан-Поль? Да какая, в сущности, разница? Не тот, так этот, оба они хороши.

Но даже если эти скоропалительные выводы верны, остается безответным вопрос: чего ради понадобилось неведомой любительнице ночных скачек спасти «государственного преступника», как охарактеризовал Алексея Огюст? Если та, *первая*, еще имела какие-то, пусть и весьма невесомые, основания позаботиться о своем молодом любовнике, попавшем в жуткую передрагу, то с какой радости *второй*, совершенно ему незнакомой, лезть на рожон и устраивать весь этот авантюрный роман с абордажем и похищением несправедливо обвиненного недоросля Алексея Уланова? Может быть, она такая простая добрая самаритянка, которая бескорыстно (или все же с некоторой примесью корысти, учитывая ее удовлетворенные вздохи?) спасает неправедно обвиненных?

Стоп, стоп, стоп... А что, если эта незримая сладострастница каким-то образом приложила руку к убийству генерала Талызина? И теперь стремится загладить свою вину перед человеком, который по ее вине расстался с честным именем?

О нет... она только что назвала Алексея романтическим злодеем. А сие означает, что дама убеждена: он и в самом деле совершил преступление, за кое был везом в крепость. Была уверена, что спасает разбойника, убийцу, однако это ее не остановило?

– Я вижу, вы теряетесь в догадках, – нежно усмехнулась незнакомка. (Ишь ты! Видит она! В такой кромешной тьме небось только кошки видеть могут, да еще ведьмы. Не к числу ли этих последних она принадлежит?) – Не трудите голову, мой милый. Ответ на все ваши вопросы весьма прост. На сегодня был назначен мой выезд из Петербурга. Не далее как вчера молодой государь удостоил меня аудиенции. Он держался со мною необычайно приветливо и сделал мне честь, заявив, что во всякое время будет счастлив снова увидеть в Петербурге украшение оперной сцены. Под сим украшением разумелась, сами понимаете, я, – скромно

уточнила дама. – О, я помню, каким пылким взором взирал на меня Александр – в то время он был всего лишь великим князем – 10 марта на музыкальном вечере в Михайловском замке. Я пела Федру, на мне было малиновое платье – как раз любимый «мальтийский» цвет императора Павла! – и ответы моего наряда играли, словно румянец, на бледном лице Александра, словно бы зажигая его тем же страстным пожаром, который бушевал в моем сердце. Можно было бы держать пари, что он думал в тот миг о том же, о чем думала я. В частности о том, что история преступной супруги Тезея<sup>16</sup> вскоре может вполне соответствовать реальности! Ведь я помнила страстные признания императора, сделанные мне накануне! Он твердил, что окончательно решил избавиться от своей надоевшей толстухи-жены и добиться развода. Митрополит Амвросий был покорной пешкой в его руках; даже и дойди разбор этого дела до самого папы римского, можно было бы ручаться за успех. Все-таки судьбы Мальтийского ордена в России зависели только от благосклонности русского императора, папа Пий не мог этого не знать. Да, Александр очень скоро мог сделаться моим пасынком, – романтически влюбленным в мачеху... Конечно, для начала я перешла бы на положение официальной фаворитки. Если бы не свершился переворот, я бы через день, много – через два заняла бы комнаты княжны Гагариной в Михайловском дворце. Павел ради меня был готов на все! Ни одна женщина не возбуждала его так, как я, ну а то обстоятельство, что первым оценил меня его наперсник и шталмейстер Жан Кутайсов, лишь прибавляло пикантности ситуации. Император был прекрасно осведомлен в русской истории, он вспомнил своего великого предка Петра, супруга коего, императрица Екатерина Первая, была взята на царское ложе из постели знаменитого временщика Меншикова, куда она попала от фельдмаршала Шереметева, который вытащил ее из-под какого-то драгуна! Мое прошлое гораздо менее скандально. Правда, я актриса, однако дама замужняя; кроме того, бывший мой амант Кутайсов был интимным другом императора, это вам не какой-нибудь драгун! Вот уж не могу сказать, знал ли о матримониальных намерениях отца великий князь. Во всяком случае, желание Павла сменить наследников и назначить своим преемником принца Евгения Вюртембергского в обход Александра, Константина и Николая уже, кажется, ни для кого не было секретом при дворе. Возможно, то, что мой коронованный любовник не умел держать язык за зубами, и ускорило его кончину... все-таки не зря твердят, что Александр гораздо лучше был осведомлен о подготовке заговора, чем об этом принято говорить!

Она трещала с такой скоростью, что Алексей с трудом мог уловить нить разговора. Большинство называемых ею имен ничего ему не говорили, а описываемые события казались совершенно неправдоподобными. Чтобы какая-то французская актриса стала не просто фавориткой императора, но и надеялась сделаться его женой... Чтобы государь отверг законных сыновей и наследников ради иностранного принца с невыговариваемым титулом... Одно из двух: либо покойный Павел Петрович был, как в Васильках говаривали, на цвету прибит, то есть умишком слаб, либо эта дамочка просто заговаривается, пользуясь провинциальной доверчивостью спасенного ею человека.

Смешно, ей-богу! Словно бродящая по гумну, стреноженная, привязанная к кольшку лошадь, волочащая за собой молотило, Алексей бродит по кругу своих мыслей, то и дело возвращается к одной, самой главной: зачем незримая дама спасла ему жизнь?

Как узнать? Спросить впрямую? Неловко как-то. Она может сказать: «А вы что-нибудь имели против?» Разумеется, ничего... Рассыпаться в благодарностях, а в них изящно вплести такой маленький вопросик: «Чему, дескать, обязан?...»

<sup>16</sup> Согласно древнегреческому мифу, Федра, жена Тезея, царя Афин, влюбилась в своего пасынка Ипполита, но была отвергнута им. Оклеветанный ею Ипполит был проклят отцом и погиб. Федра покончила с собой, перед смертью покаявшись в своих грехах и очистив имя Ипполита от клеветы.

Конечно, можно вообще ни о чем не спрашивать. Рано или поздно все выяснится само собой, но когда? И что до той поры делать Алексею? Все то же, что делал допрежь? Оно, конечно, весьма приятно, а все ж как-то, воля ваша, господа... не этак!

Нет, надобно спросить, даже если вопрос и покажется даме неучтивым. Алексей тихонько покряхтел, набираясь сил разомкнуть застенчивые уста, как вдруг внезапный стук заставил его вздрогнуть.

Колотили с улицы в дверцу кареты, которая продолжала свое движение.

«Погоня! – смекнул Алексей. – За нами погоня!»

– Это гонятся за мной! – отрывисто проговорил он. – Я навлек на вашу голову беду, моя дорогая спасительница. Хоть и не ведаю, почему и отчего вы ради меня рисковали жизнью своей и своего брата, однако навеки сохраню благодарность к вам в своем сердце и жизни не пожалею, чтобы отплатить вам сторицей! Одною просьбою решусь обременить вас напоследок: дайте мне какое-нибудь оружие, коим я мог бы защищать вашу жизнь и честь, поскольку сам я таковым не обладаю, к несчастью...

– Отчего ж? – удивленно молвила дама. – Вы обладаете оружием очень значительным! Правда, повторяю, не вполне умелым, однако же меч ваш мы с течением времени изрядно наострим. И не говорите о вашей признательности! Ради человека, который уничтожил этого хладнокровного монстра, генерала Талызина, я была готова на все. На все! Ах, кабы вы знали, что это за чудовище! Ведь он мог спасти императора, но не сделал этого. Он даже хуже Палена – об том хотя бы всем известно, что это лицемер, хладнокровно действующий исключительно в собственных интересах. Он хуже Панина, Марина, Татарина, Зубовых, их сестрицы Ольги Жеребцовой, подкупленной английским золотом. Это были искренние враги. А Талызин притворялся другом, он намеренно утишал наши с Кутайсовым и Оболенским подозрения и опасения, клялся, что жизни своей не пощадит ради спасения жизни государя! Он обещал передать Кутайсову письмо, извещающее точную дату начала заговора, но сделал это так бездарно, что мой дорогой друг не смог им воспользоваться! – Она всхлипнула от злости. – Проклятый предатель! Но вы заставили его заплатить за обман. Я восхищена вами, сударь, я благодарна вам, я готова на все, чтобы выразить свою благодарность...

Худенькие пальчики с острыми ноготками легонько поползли по бедру Алексея, подбираясь к застежке его штанов, но в это время в дверцу снова заколотили. Наши любовники так и подскочили!

– О, *bon Dieu!*<sup>17</sup> – досадливо простонала дама. – Придется, видимо, их впустить. Не считите за труд, *mon cher*, отогрите дверцу.

Повозившись несколько мгновений во тьме, Алексей наконец-то нашарил крючок и откинул его. Дверца приотворилась, впуслав в душное, теплое нутро кареты клуб сырого, не повесенному студеного воздуха, а через мгновение этот клуб, как почудилось ошеломленному Алексею, раздвоился и материализовался в темные худощавые фигуры, которые забились в уголок кареты, нарочито громко стуча зубами и наперебой стеная:

– Боже мой, как холодно! Мы совсем промокли!

– Ладно, ладно, – насмешливо воскликнула дама. – Не так уж долго вам пришлось ожидать.

– Недолго?! – возмутилось одно из исчадий тьмы, причем голос его показался Алексею знакомым. – Да здесь воздух успел насквозь пропитаться распутством. Вы не теряли времени даром, дорогая сестрица!

– Я его никогда не теряла, – промурлыкала та без тени смущения, в то время как Алексей от таких разговоров с охотой провалился бы сквозь землю – в смысле, сквозь пол кареты. –

---

<sup>17</sup> Милостивый боже! (*франц.*)

Должна же я была достойно вознаградить нашего юного героя. Он это заслужил своим героизмом.

– Заслужил, заслужил! – согласился голос. – Кстати, может быть, время зажечь свет? Должны же мы разглядеть одного героя. Там, на реке, было, сами понимаете, не до того, ну а потом вы слишком стремительно взяли его в оборот.

Послышалось металлическое звяканье, чирканье, и через мгновение внутренность кареты осветилась колеблющимся светом дорожного фонаря, висящего под потолком, и его тусклые лучи до такой степени напомнили Алексею о тюремной карете, в которой он ехал вместе с покойным Дзюгановым, что наш герой едва не вскрикнул испуганно. Забился к стене и кидал вокруг затравленные взоры.

Так... эти два худощавых человечка Алексею знакомы. Недавно встречались посреди Невы! Огюст и Жан-Поль, здрасьте, очень приятно.

Впрочем, два «пирата» удостоились лишь беглого осмотра – внимание Алексея всецело приковалось к даме, и он едва сдержал тяжкий, разочарованный вздох, удивившись: руки, губы и обоняние его не обманули. Пред ним, увы, была не *она*!

Эта маленькая, а та высокая. Эта худышка, более похожая сложением на девочку, а у той была роскошная фигура. Эта жгучая брюнетка с пылкими черными глазами. А та была русоволоса и голубоглаза. Все не то, словом... Нет спору, очень мило, но... И все-таки надо быть справедливым: жизнь Алексею спасла именно эта миниатюрная распутница, пусть она даже совсем не в его вкусе. А та роскошная красавица, по которой ноет его сердце, навлекла на него большие неприятности, чуть было не стоившие ему жизни, и бесследно исчезла, ничуть не озабочась судьбою своего мимолетного любовника!

Алексей подавил разочарованный вздох и проговорил со всей мыслимой и немислимой галантностью:

– Господа, нет слов, чтобы выразить мою признательность. Однако же не считите меня нескромным в моем желании узнать имена моих спасителей. Клянусь, ежели они составляют некую тайну, я сохраню ее навеки, и никакая сила не сможет заставить меня разомкнуть уста!

– Помилуйте, голубчик, да какая же в сем может быть тайна? – весело спросил Огюст. – Имя вашей спасительницы, моей нежнейшей сестрицы, гремело в Петербурге погромче пушек Адмиралтейства. Прима императорской сцены, обольстительная, несравненная Луиза Шевалье! Аплодисменты, господа!!!

Огюст и Жан-Поль в самом деле разразились такими бурными, такими заразительными аплодисментами, что ладони Алексея тоже несколько раз вяло шлепнулись друг о друга, но почти тотчас безвольно упали на колени, а услужливая память нарисовала похабную сценку, виденную нынче днем близ Зимнего дворца. Мужик в гречевнике и его собачонка:

«А ну, сучка, покажь, как мадам Шевалье делает это!»

И собачка бряк на спину, раскинув лапки...

Ну, это слишком просто, господа. Отнюдь не только так «мадам Шевалье делает это», уж Алексей-то мог в сем убедиться. А также он мог бы ответить на вопрос, с кем именно мадам Шевалье занимается теперь своим любимым делом.

С ним. С Алексеем Сергеевичем Улановым, дворянином и беглым преступником... Будем знакомы. И – аплодисменты, господа!!!

## Ноябрь 1796 года

...Пройдя сквозь толпу пажей, сенных девушек, мамушек, лакеев и камердинеров, сидевших под дверями спальни, где кончалась императрица, Павел лицом к лицу столкнулся с Петром Талызиным. За это время молодой человек получил, как и ожидал, чин капитана Измайловского полка, несшего нынче охрану государевых покоев. При виде вновь прибывшего сухощавое, горбоносое, точеное лицо Талызина вдруг вспыхнуло мальчишеским восторгом, и он произнес прерывающимся голосом:

– Ваше императорское величество, от всего сердца приветствую ваше восшествие на российский престол! Многая вам лета!

Павел безотчетно приосанился. Его мать была еще жива, и наигранно-восторженное приветствие Талызина нельзя было счесть ничем иным, как проявлением самой грубой, низкопробной лести и заискиванием, однако в это мгновение Павел не ощутил ничего, кроме щенячьей радости. Талызин ему всегда нравился. Он был мистик, масон, он охотно вступил в любимый великим князем Мальтийский орден, к чему иных молодых офицеров приходилось понуждать чуть ли не силою, и Павел был истинно счастлив произнести сейчас:

– Жалую вас командором ордена, званием генерал-майора, орденом Святой Анны и моим особым благоволением!

Талызин даже покачнулся, словно не в силах был вынести тяжесть благодеяний, вдруг обрушившихся на его худощавые плечи, он даже слова благодарного не успел молвить, а великий князь уже проследовал мимо.

На неверных ногах Талызин двинулся за ним, не обратив внимания на некое шевеление в углу приемной. Там, забившись с ногами в кресло, сидел последний любимец Екатерины, красавец Платон Зубов, и, еле дыша от горя, взирал на свое счастье, лежащее теперь в обломках. В царившей вокруг суматохе никто не обращал на него внимания, все взоры окружающих были теперь прикованы к наследнику престола, и молодой князь, которому еще вчера стелил постель сам генерал Голенищев-Кутузов, теперь не мог добиться от последнего лакея, чтобы ему подали стакан воды!

Много чего говорили о нем завистники и недоброжелатели, однако князь Платон был довольно умен, чтобы понимать: Талызин – лишь первая ласточка в череде будущих льстецов и потворщиков, которые обрушатся с поздравлениями на гатчинского изгнанника, ранее бывшего мишенью для самых грубых насмешек при дворе, ибо доходившая до ненависти нелюбовь Екатерины к своему сыну ни для кого не была секретом. И вот теперь такое лакейство, такое лизоблюдство, и с чьей стороны?! Петра Талызина, который всегда казался князю Платону олицетворением одних лишь достоинств! Чего же ожидать от прочих? А ведь матушка-государыня еще жива!

...Она и в самом деле еще была жива, еще боролась со смертью за каждый свой вздох, однако пребывала в беспомощности и не знала ничего о том, что творилось вокруг ее почти безжизненного тела. А может быть, и знала, ведь душа бессмертна, однако уже ничего не могла поделать.

Не могла утешить ненаглядного Платошу и горько рыдающую прислугу, не могла презрительно усмехнуться над поступком Талызина. Не могла одернуть сына, который и ранее не отличался переизбытком такта, вот и сейчас устроился в кабинете матери, прилегающем к спальне, так что всякий, желавший к нему обратиться, должен был протопать, промаршировать, прокрасться, пробежать мимо постели умирающей государыни. Какая профанация самодержавного величия!.. Екатерина не могла насмешливо покачать головой, глядя, как Павел соединил руки Александра и коменданта Гатчины, начальника сухопутных войск наследника

Аракчеева (того самого, что иногда вырывал усы у провинившихся солдат): «Соединитесь и помогайте мне!» Александр совсем недавно, 24 сентября, дал письменное согласие на проект, лишивший престола его отца, и даже горячо благодарил любимую бабушку за оказанное ему предпочтение. А теперь... какая трогательная сыновняя любовь! Уморительно-трогательная! И если правда, что умирающие могут провидеть будущее, каламбур *уморительно-трогательная* мог бы показаться не чуждой словесных изысков Екатерине особенно удачным...

Но сейчас она не могла ни усмехаться, ни опечалиться при виде того, как Павел приказал Федору Барятинскому, сообщнику Алексея Орлова по делу в Ропше, немедленно оставить дворец и тотчас заменил его как обер-гофмаршала – графом Николаем Шереметевым. Не могла и содрогнуться, когда Павел беспардонно затребовал от канцлера Безбородко тайные бумаги матери и принялся жадно читать проект указа, объявляющий его отречение от престола, и распоряжение о водворении его в замок Лоде. «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!» – могла бы подумать в эту минуту Екатерина, глядя, как обе эти бумаги сын сунул себе в карман, отправив туда же, не читая, и завещание матери, и тайное признание графа Алексея Орлова, снимающее с Екатерины всякую ответственность за смерть Петра III... Все это теперь принадлежало прошлому! Как и сама императрица Екатерина Великая.

В 9 часов 45 минут вечера (на дворе было 6 ноября 1796 года) лейб-медик Роджерсон поднял глаза на стоящего возле одра наследника и сухим своим английским голосом объявил, что все кончено, государыня преставилась.

Павел стукнул себя по лбу. Только теперь сообразил он, что означал виденный нынче ночью сон. Неведомая сила наконец-то вознесла его на трон! Он будет править!

Резко повернувшись на каблуках, Павел надел на голову огромную шляпу, которую доселе нервно комкал в руках, схватил лежащую на кресле свою длинную трость и, потрясая ею, закричал хриплым голосом:

– Я вам теперь государь! Попа сюда!

При звуке этого жуткого, почти нечеловеческого голоса ноги Платона Зубова подогнулись, и молодой князь рухнул на пол, сраженный не только горем, но и страшным прозрением. Он лучше других знал: Екатерина умерла, собираясь лишить сына престола. А если именно сыночек каким-то образом приложил руку к тому, чтобы ускорить ее кончину? Эти мысли отнимали дыхание, замедляли биение сердца. Но прежде чем окончательно лишиться сознания, Платон успел подумать, что в мире есть два человека, в которых отныне сосредоточена вся его ненависть: это вновь провозглашенный император... и вновь испеченный генерал Талызин!

\* \* \*

Все переменялось менее чем в один день! Петербург, еще не пришедший в себя от потери той, которую страна единодушно называла матушкой, мгновенно принял вид немецкого города, существовавшего два или три века назад. Одним из первых распоряжений нового императора было разместить по улицам караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, белый и черный, а при них расставить часовых. Это приказание исполняли великий князь Александр и Аракчеев. Дворец был превращен в кордегардию. Везде стук офицерских сапог, бряцанье шпор. Везде гатчинцы, вид костюмов которых вызывал смех, смешанный со слезами. Вышел императорский указ, запрещающий круглые шляпы, высокие сапоги, длинные панталоны, башмаки с завязками и предписывающий как установленную форму для всего мужского населения треуголку, зачесанные назад, напудренные и заплетенные в косу волосы, башмаки с пряжками, короткие панталоны, стоячий воротник... Еще ценный указ: на столе не более трех блюд. Никакого роскошества! Равенство, равенство... Вперемежку с этими узаконениями сыпались и менее безобидные: высылка из Петербурга бывшего фаворита и его братьев, заключение в Петропавловскую крепость любимого камердинера Екатерины Зотова (который,

кстати, сошел в крепости с ума и умер), удаление из столицы всех, имеющих отношение к делу в Ропше, и вообще всех, кто не нравился новому императору, перезахоронение праха Петра Федоровича, помилование польского мятежника и смутьяна Тадеуша Косцюшко, к которому новый император *сам, лично*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.